

Иван Алексеевич Бунин

## Воспоминанія

# Содержание

И.А. Бунинъ Воспоминанія . . . . .	0003
АВТОБИОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМЕТКИ . . . . .	0004
РАХМАНИНОВ . . . . .	0080
РЕПИН . . . . .	0083
ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ . . . . .	0085
ТОЛСТОЙ . . . . .	0088
ЧЕХОВ . . . . .	0107
ШАЛЯПИН . . . . .	0143
ГОРЬКІЙ . . . . .	0160
ЕГО ВЫСОЧЕСТВО . . . . .	0177
КУПРИН . . . . .	0192
СЕМЕНОВЫ И БУНИНЫ . . . . .	0219
ЭРТЕЛЬ . . . . .	0236
ВОЛОШИН . . . . .	0255
«ТРЕТІЙ ТОЛСТОЙ» . . . . .	0280
МАЯКОВСКІЙ . . . . .	0333
ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ . . . . .	0348
НОБЕЛЕВСКІЕ ДНИ . . . . .	0367

# И.А. Бунинъ Воспоминанія

Париж 1950  
Старая орфография частично изменена



**АВТОБІОГРАФИЧЕСКІЯ  
ЗАМЕТКИ**

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми. (Курсив всюду мой; делая выписки из стихов и прозы с новой орфографией, я даю их по старой).

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какія-то дикія горы, белый холст водопада и какого-то приземистаго, толстаго мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, т. е. с зобом, стоявшаго под водопадом с длинной палкой в

руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне; «Встреча в горах с кретином». Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь не мало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были,

однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, – ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне, вообще, суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретиннов, имена которых на веки останутся во всемирной истории, – тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, не мало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московско-

му поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось преславутое дворянское «оскудение»,—под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающія дворянскія гнѣзда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представлѣніе о дворянах-помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневаго сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитаго Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни

к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужаснаго аристократа, для изображенія аристократизма котораго Станиславскій все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамиліей прямо из Гоголя: Симіонов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в Россіи садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять таки вопреки Чехову, как раз возле господскаго дома, и ничего чудеснаго не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвою, с мелкими цветочками в пору цветенія (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господскаго дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопухин приказал рубить эти доходныя деревья

с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтаго в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из «Дяди Вани», — истерика Ани:

«Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим – студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! – восклицает он. – Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобныя фамиліи придумывають себе провинціальныя актрисы.

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, – он еще жив и мне не хочется называть его, – рассказывал в своих стихах, что он шел «колосья пшена разбирая», тогда как такого растенія в природе, никак не существует: существует, как известно, просо, зерно котораго и есть пшено, а колосья

(точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу яз породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно безшумную при перелетах, – со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях -

*Дома косые двухэтажные  
И туг же рига, скотный двор,*

– а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери ихъ будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в

речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и «несет в ягдташе золотую лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати: почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» – как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре – как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в России, и во всех прочих странах актеров художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным Театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, – ведь даже и доныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного я насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслыша-

ние всей России, сказал Чехову: «Это – твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году – «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова его: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит:

«Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции, мнение, написав мне в 1936 году:

«Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие

побывали в нем. Почитатель Чехова В. Моло- тов». Какія мудрые и благосклонные слова!

«Художественный театр имени Горькаго». Да что! Это капля в море. Вся Россія, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотскія оскорбленія русской исторической жизни: город Великаго Петра дали Ленину, древній Нижній Новгород превратился в Город Горькій, древняя столица Тверского Удельнаго Княжества, Тверь, – в Калинин, в город какого-то ничтожнейшаго типографскаго наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушіем, не придала этому ровно никакого значенія, – как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцещипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости а кощунства», в свое время обещал переименовать Россію Китежа в какую-то «Инонію», орал, раздирая гармонь:

*Ненавижу дыханіе Китежа!  
Обещаю вам Инонію!*

*Богу выщиплю бороду!  
Молюсь ему материщиною!*

*Я не чета каким-то там болванам,  
Пускай бываю иногда я пьяным,  
Зато в глазах моих прозрений дивных свет -  
Я вижу все и ясно понимаю,  
Что эра новая не фунт изюму вам,  
Что имя Ленина шумит, как ветер, по краю!*

За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой «мальченка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?

*Я мать свою зарезал,  
Отца сваво убил,  
А младшую сестренку  
Невинности лишил...*

Простила и за то, что он – «самородок», хо-

тя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

*Осточертели эти самые самородки  
От сохи, от земли, от  
земледеля,  
Довольно этой косоворотки и водки  
И стихов с похмеля!*

*В сущности, не так уж много  
Требуется, чтобы стать поэтами:  
Запустить в Господа Бога  
Тяжелыми предметами,*

*Расшвырять, сообразно со вкусами,  
Письменные принадлежности,  
Тряхнуть кудрями русыми  
И зарыдать от нежности...*

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и

принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка; с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: «Где уж нам, деревенщине!» А за этим маскарадом – неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолюбие, ежеминутно готовое прорваться въ дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторять в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такія?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву и там он быстро стал популярен, примкнув к «имажинистам». Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи, отелись», приступы мании величія, Айседора Дункан, турнэ с ней по Европе и Америке, неистовые избіенія ея, возвращеніе в Россію, новыя женитьбы, новыя скандалы, пьянство – в самоубійство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, – о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего пріятеля Маріенгофа. Маріенгоф был пройдоха не меньше его, был величайшій негодяй, это им была написана

однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты барахты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри – Белый: и волос уж седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голиницами в гармошку. Все на меня в лорнеты, – «ах, как замечательно, ах, как гениально!» – А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости.... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел, – не надо ли, мол, чего покрасить, – и давай кухарке стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: «где уж нам в горницу, креслица барину

перепачкаю, пол вощенный наслежу... Барин предлагает садиться – Клюев опять ломается, мнетя: да нет, мы постоим...»

Интересны были и воспоминанія Родіона Березова, его бывшего пріятеля, напечатанныя в «Новом Русском Слове» в Нью-Йорке.. Березов писал о Есенине с умиленіем:

– Помнишь, Сережа, спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал, – помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин отвечал:

– Все помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, не спроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

*Заметался пожар голубой,*

*Позабылись родимыя дали,  
Первый раз я запел про любовь,  
Первый раз отрекаюсь сканда-  
лить...*

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, своим вечным бахвальством, как и многими, прочими своими качествами?

*Синий май.  
Заревая теплынь.  
Не прозвякнет кольцо у калитки.  
Липким запахом веет полынь,  
Спит черемуха в белой накидке...*

Дело происходит в мае, в саду, – откуда же взялась полынь, запах которой, как известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «веять»?

Дальше, несмотря на спящую черемуху, -

*Сад польщит, как пенный пожар,  
И луна, напрягая все силы,  
Хочет так, чтобы каждый дро-  
жал  
От щемящего слова «милый»...*

Желаніе луны понятно, – недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущеній»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающей пенным пожаром сад и такая неистовая луна? И кончается все это так:

*Только я в эту тишь, в эту гладь,  
Под тальянку веселаго мая,  
Не могу ничего пожелать,  
Все, как есть, без конца прини-  
мая...*

Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются...

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встречались с ним в редакции журнала Красная Новь. Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картинка: Есенин в черном котелке и модном демисезонном пальто «реглан», в лаковых полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поем...» Рисовал Березов и другія "картинки" -как жил и как «творил» Есенин (игравшій и другія роли, уже не хулиганскія):

«Жил Есенин в Брюссовском переулке, в

большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Приятные, светлые обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетка с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам, стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: «Груша, сходите за цветами, купите самых красивых». Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по праздничному, как для обедни, и

ставит на письменный стол цветы. Все его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озерам и рощам за раба Божия Сергея и за его вдохновенное творчество...»

Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковской! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто «крыл» ее, не говорил подлых слов «о мучительной тоске» за океаном, о слезах при виде березок...

О Есенине была в свое время еще статья Владислава Ходасевича в «Современных Записках»: Ходасевич в этой статье говорил, это у Есенина, в числе прочих способов обольщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице посмотреть разстрелы в Чека, – я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть, Чека покровительствовали той банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич: она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу...»

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала кроме реализма, протокольного описывания действительности... Но давно ли перед этим появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви». Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появившиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были новы – и по духу и по форме – как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, – его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы

не погиб в самоубийстве, развился бы несомненно так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, – видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяческий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературе, в одном стане ее, Горький, ловко подхвативший их надежды на босяка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль», – в этом рассказе какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и светлое будущее, – такие борцы ведь всегда пламенные, – вырвал из своей груди свое пылающее

сердце, дабы бежать куда-то вперед, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакцій. А в другом стане уже славились Мережковскій, Гиппіус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минскій, его близкій друг, еще недавно призывавший грозу революцій:

*Пусть же гром ударит и в мое жилище,  
Пусть я даже буду первый грома пищей! -*

Минскій, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшебышевскаго, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом: это уже гораздо позднее многие из них запели подобно Минскому:

Пролетаріи всех стран, соединяйтесь!

Наша сила, наша воля, наша власть! – подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему,

когда нужно было, декадентом, потом монархистом славянофилом, патриотом во время первой мировой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

*Горе, горе! Умер Ленин!  
Вот лежит он хладен, тленен!*

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

*О, плачьте,  
О, плачьте  
До радостных слез!  
Высоко на мачте  
Мелькает матрос!*

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное – про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

*Всходит месяц обнаженный  
При лазоревой луне!*

Впоследствии он стал писать гораздо разумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда

В дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

*Альков задвинутый,  
Дрожанье тьмы,  
Ты запрокинута  
И двое мы...*

Был он кроме того неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:

*В годы Кука, давно славные,  
Бригам ребра ты дробил,  
Чтоб тебя узнать, их главный – и  
Непотворный опыт был...*

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

*Лютики, ландыши, ласки любов-  
ныя...*

*Потом читая второе, с отрыви-  
стой чеканностью:*

*Берег, буря, в берег бьется  
Чуждый чарам черный челн...*

Гипсіус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:

– Первое стихотворение очень пошло, второе - непонятно.

Бальмонт налился кровью:

– Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

– Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, – отдельно ответила Гипсіус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

– Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. По когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы

вы стали понятливей!

– Но я ужасно рада, что вы не можете, ответила Гиппиус.– Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецей, человек, в натуре которого было не мало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но, не мало и совсем другого – дикаго буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи, и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

– Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказы-

вал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

– Художественный театр готовился ставить «Синюю Птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать в Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди – всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небезизвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему.

му, а собака начинает уже захлебываться от рычанія. «Будьте же добры, говорю я тогда достаточно резко, соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего созданія?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона...

Разсказывал свое приключеніе на Мысе Доброй Надежды:

– Когда наш корабль, – Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», – бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, – тут Бальмонт опять таки не мог сказать, что он просто вышел за город, – я увидел род вигвама, заглянул в него и увидел в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками міра, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством...

«Я, владеющій многими языками міра...» Не один Бальмонт так бесовестно лгал о сво-

ем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книге какого-то Мясникова («Поэзія Брюсова»), изданной в 1945 г. в Москве: «Брюсов свободно владея французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-англійски, по-итальянски, по- немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имел представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, древнеегипетском, арабском, древнеперсидском и японском...» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпіон» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская Мысль», что этот Поляков «знал все европейскіе языки и около дюжины восточных...» Вы только подумайте: все европейскіе языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками міра» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмигрант, он встретился у меня с моим литературным агентом, аме-

риканцем Брадлеем, и когда Брайлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, – очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, – только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям:

Знаю, как нещадно били его – и не раз – лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и

так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем, — он, писатель Федоров и я, — купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: — «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь» лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами, и запустил в колючия прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, — человек, за всю свою долгую жизнь не

сказавшей ни единого словечка в простоте, называвшей в стихах даже тайныя прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был он довольно разсчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, – сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

– Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, – начал сонет так:

Я тигр, ты – лев!

Разсчетлив он был и политически. В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедія» и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт – один из вождей русского символизма... По окончаніи гимназіи поступил в

московській університет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни мстителя» превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 г. после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 г. опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещенное», восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции... Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, «пожелал стать певцом страстей и преступлений», как сказал о нем Брюсов. В сонете «Уроды» прославил «кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и бе-

ду, Гоморру и Содом», восторженно приветствовал, как «брата», Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убійство беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая Жизнь», – например, такіа строки:

*Кто не верит в победу сознательных,  
смелых рабочих,  
Тот безчестный, тот шулер,  
ведет он двойную игру!*

Это так глупо и, грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет; тут в стихах под заглавіем «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московскаго возстанія в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

*Грубый солдат! Ты еще не постиг,  
Кому же ты служишь лакеем?  
Ты сопричислился – о, не на миг! -  
К подлым, к безчестным, к злоде-  
ям!*

*Я тебя видел в расцвете души,  
Встречал тебя вольно красивым.  
Низкій. Как пал ты! В трясине! в  
глуши!  
Труп ты – во гробе червивом!*

*Кровью ты залил свой жалкій  
мундир,  
Душою ты в пропасти темной.  
Проклят ты. Проклят тобою  
весь мир.  
Нечисть! Убийца наемный!*

Но и этого мало: дальше идут «песни» о ца-  
ре:

*Наш царь – убожество слепое,  
Тюрьма и кнут, подсуд разстрел,  
Царь висельник...  
Он трус, он чувствует с запинкой,  
Но будет, час расплаты ждет!  
Ты был ничтожный человек,  
Теперь ты грязный зверь!*

*Царь губошлепствует...  
О мерзость мерзостей!  
Распад, зловонье гноя,  
Нарыв уже набух, и, пухлый, ждет  
ножа.  
Тесней, товарищи, сплотимтесь  
все для боя,  
Ухватим этого колючаго ежа!  
Царь наш весь мерзостный, с ли-  
сыим хвостом,  
С пастью, приличною волку,  
К миру людей призывает – при-  
том  
Грабит весь мір втихомолку,  
Грабит, кошунствует, ежится,  
лжет,  
Жалко скулит, как щенята!  
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью,  
кровью пьяный,  
Ты должен быть убит!*

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московскаго возстанія, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россію. А Гржебин, начавшій еще до возстанія издавать в Петербурга иллюстрированный сатирическій журнал, первый выпуск его

украшив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда и никто его и пальцем не тронул. Горькій бежал сперва в Америку, потом в Италию...

Мечтая о революціи, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

*Петухи поют на Святой Руси -  
Скоро будет день на Святой Руси!*

Андреев, изолгавшійся во всяческом пафосе, писал о ней Вересаеву: »Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революція и соціалы, либо квашенная конституционная капуста. Если революція, то это будет нечто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россія, но новая земля!»

«И вот приходит еще один вестник к Юву и говорит ему: сыновья твои и дочери твоя ели и пили вино в доме первороднаго брата твоего; и вот большой ветер пришел из пустыни и

охватил четыре угла дома, и дом упал на них и они умерли...»

«Нечто умопомрачительно радостное» наконец, настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так:

«Русская революція проделана была зоологически».

Это было сказано еще в 1922 году и сказано не совсем справедливо: в міре зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства, – зверства ради зверства, – какое бывает в міре человеческом и особенно во время революцій; зверь, гад действует всегда разумно, с практической целью: жрет другого зверя, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существованіи, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубійстве, не упивается им, «как таковым», не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, – особенно тогда, когда он знает свою безнаказность, когда порой (как, например, во время революцій) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: вла-

стью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного Знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных вырожденков, психопатов, садистов, – как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствования Ленина, Троцкого, Джерзинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удивительно не схожи ни

в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Волынский, видно не даром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством у лице, с безстыдной жаждой успехов, скандалов...

Толстой немного позднее определил все это так:

«Удивительна дерзость и глупость нынешних новых писателей!»

Это время было временем уже резкого упадка в литературе, нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры... Розанов в то время

очень кстати (и с гордостью) заявил однажды: «Литература – мои штаны, что хочу, то в них и делаю... Впоследствии Блок писал в своем дневнике:

- Литературная среда смердит...
- Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкія гадости...
- Мережковскіе – хлыстовство...
- Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая...
- Все ближайшіе люди на границе безумія, больны, расшатаны... Устал... Болен... (Вечером напился... Ремизов, Гершензон – все больны... У модернистов только завитки вокруг пустоты...
- Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси...
- Талант пошлости и кощунства у Есенина.
- Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, все не из жизни!...
- У Алексея Толстого все испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница...
- Вернисажи, «Бродячія собаки»... Позднее

писал Блок и о революціи, – например, в мае 1917 года:

– Старая русская власть опиралась на очень глубокія свойства русской жизни, которыя заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по революціонному... Не мог сразу сделаться революціонным народ, для котораго крушеніе старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революція предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в іюле того же года писал о том же:

– Германскія деньги и агитація огромны... Ночь, на улице галдеж, хохот...

Через некоторое время он, как известно, впал в некій род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революціи раньше. И я привел его сужденія о ней не с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та «революція», которая началась в девяностых годах в русской литературе, была тоже некоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революціи тоже было с самага ея начала то хулиганство, то отсутствіе меры,

те трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексею Толстому, были и впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в свое время и сам Блок грешен на счет этих «завитков», да еще каких! Андрей Белый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «Тайным Рыцарем Жены, Облеченной в Солнце». А сам Блок, еще раньше Белого, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

Законодателю русского стиха,  
Кормщику в темном плаще,

Путеводной Зеленой звезде – меж тем, как этот «Кормщик», «Зеленая звезда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченный в Солнце», был сыном мелкаго московскаго купца, торговавшаго пробками, жил на Цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдіи купеческій, с воротами всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цепи во дворе. Познакомясь с Брюсовым, когда он был еще студентом, я увидел молодого человека, черноглазаго, с довольно толстой и тугой гостиннодворческой и скуластоазіатской фізіономіей. Говорил

Этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос и все время сентенціями, тоном поучительным, не допускающим возраженій. Все было в его словах крайне революціонно (в смысле искусства), – да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги до тла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрійскую бібліотеку!» – воскликнул он. Но вместе с тем для всего новаго уже были у него, этого «держателя, разрушителя», жесточайшіе, непоколебимые правила, уставы, узаконенія, за малейшее отступленіе от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звезда...» Тогда и заглавія книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны:

«Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»... Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавія, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды

Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

– Это для косых!

В моих воспоминаниях о Чехове сказано кое-что о том, как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву... Вот еще одно свидетельство в том же роде.

Года три тому назад, – в 1947 году, – в Москве издана книга под заглавием «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». В этой книге напечатаны между прочим воспоминания А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институте и летом 1902 года производил разведки на каменный уголь в уральском имении Саввы Морозова, и вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горькаго и со своей стороны не поскупился на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометий я восклицательных знаков.

– Извините... Я не понимаю... – оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. – Я не понимаю, почему вы; и вообще вся молодежь без ума от Горькаго? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о соколе»... Но ведь это не литература, а только набор громких слов...

От изумления я обжегся глотком чая.

– Море смеялось, – продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенснэ. – Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это дешевка, лубок. (Вот вы прочитали «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так – море – и вдруг смеется? Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смеется...

Длинными пальцами: он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

– Вот вы сослались на «Фому Гордеева», – продолжал он, сжимая около глаз гусиные

лапки морщин. – И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыгратья на Художественном Театре.

– Ничего, театр как театр, – опять погасил мои восторги Чехов. – По крайней мере актеры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры еще очень некультурны...

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

– Никаких декадентов нет и не было, – безжалостно доканал меня Чехов. – Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И, ноги у них вовсе не «бледные», а такія же как у всех – волосатые...

Я упомянул об Андрееве: Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

– Ну, какой же Леонид Андреев – писатель? Это просто помощник присяжнаго повереннаго, из тех, которые ужасно любят красиво говорить...

Мне Чехов говорил о «декадентах» несколько иначе, чем Тихонову, – не только как о жуликах:

– Какіе они декаденты! – говорил он, – они здоровеннейшіе мужики, их бы в арестантскія роты отдать...

Правда – почти все были «жулики» и «здоровеннейшіе мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературныя способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно, как и у прочих, – у Горькаго, Андреева, позднее, например, у тщедушнаго, дохлаго от болезней Арцыбашева или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, – были я впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлеченія к себе вниманія, но ведь

обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно и последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый маніей величія Брюсов, автор "Тихих мальчиков», потом «Мелкаго беса», иначе говоря патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, – «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистическій анархист» Чулков, изступленный Вольтинскій, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минскій; у Горькаго была болезненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сію книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, – нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробно едкой ироніи над чем-то: Іегудіил Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словоотеков... Горькій оставил после себя

невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости просто поразительных по количеству актерских по? и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напряженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора; он был совершенно неистощимый говорун с несметными по количеству и разнообразию гримасами, то опять таки страшно мрачными, то йдіотски радостными, с закатываніем под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой меры грубаго, то романтически восторженнаго, без нелепой неумеренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете!») и всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаніях: «Это – город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма И сопит, как обжора, страдающей

ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа; улицы его – это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пицци, живые люди; вагоны городской железной дороги огромные черви; локомотивы – жирные утки...» Он был чудовищный графоман: в огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горькаго в Москве под заглавием: «Литературная работа Горькаго», сказано;

«Мы еще не имеем, точнаго представлення о полном объеме всей писательской деятельности Горькаго: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его...» А недавно я прочел» московском «Огоньке» следующее: «Величайшій в міре пролетарскій писатель Горькій намеревался подарить нам еще много, много замечательных твореній; и нет сомненія, что он сделал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около восьми тысяч ценнейших рукописей и матеріалов Горькаго бережно хранятся в архиве писателя при Институте міровой литературы Академіи наук

СССР»... Таков был Горькій. А сколько было еще ненормальных! Цветаева с ея не прекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращенія в советскую Россию, буйнейшій пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавшій в свирепое эротическое помешательство; морфинист и садистическій эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего, про несчастнаго Блока – тоже: дед, по отцу умер в психіатрической больнице, отец «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно лечилась в больнице для душевнобольных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страданія от вина и женщин, затем «тяжелая психостенія, а незадолго до смерти помраченіе разсудка и воспаленіе сердечных клапанов...» Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость – редкая: «гѣмназія отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он

готовится в актеры, в первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр; алых зорь, золотистых долин, цветастых лугов»; затем он подражатель В. Соловьева, друг и соратник Белого, возглавлявшего мистический кружок аргонавтов»; в 1903 году «идет в толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революции...» В первую великую войну он устраивается на фронте чем то вроде земгусара, приезжая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войне «весело», то совсем другое – как там скучно, гадко, иногда уверяет ее, что «всех жидов надо повесить»...

(Последние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из ее петербургских дневников, а все прочее относительно Блока – из биографических и автобиографических сведений о нем).

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, «при ближайшем участии Горькаго, Замятина и Чуковскаго» журнал «Русский Современник», преследовавший, как сказано бы-

ло в его программе, «только культурные цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно:

«Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь – среди этих «замыслов» есть кое что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не более, не менее, как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспекте этой «пьесы»:

– Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удят рыбу.

– Входит Иисус: не мужчина и не женщина.

– Фома (неверный!) – контролирует.

– Пришлось уверовать: заставили и надудли.

– Вложил персты и распространителем

стал.

– А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов – и Учредилку...

Поверят ли почитатели «великаго поэта», в эти чудовищный низости? А меж тем я выписываю буквально. Но дальше:

– Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит па месте.

– Апостолы воруют для Иисуса вишни, пше-ницу.

– Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.

– Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

– Нагорная проповедь: митинг.

– Власти беспокоятся. Иисуса арестовали.

Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

– Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой бук-вы...

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов – и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна

это строка, – про апостола Петра, – «дурак Симон с отвисшей губой»), есть, разумеется» нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургию Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «Отец мой Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей Собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действие», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, – «действие», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело не мало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным баринном, помещиком, в енотовой шубе, в бобро-

вой шапке или в цилиндре, стриженный а ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабыми губами.... Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, – уже при большевиках, – будто бы так: с Евангелием в одной руке и с «Декамероном» Боккачю в другой.

При большевиках всяческое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне писали из Москвы еще лет тридцать тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающаяся рожки, «народ-богоносец» Достоевского любит на картинке в журнальчике «Безбожник»: там изображено, как глупые бабы «причащаются», – едят кишки Христа, – изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающей что то Демьяна Бедного...»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество не равноценно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы – например, в рассказе «Сашка-Христос». Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революций, ни революционного быта, как, например, в рассказе «Иисусов грех»... К сожалению, говорила дальше газета, – хотя я не совсем понимал; о чем тут сожалеть? – «к сожалению, особо характерны места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующия его лица – Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала...» Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо

«революційний отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, со своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ея, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается еще некій Хлебников.

Хлебникова, имя котораго было Виктор, хотя он переименовал его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революції (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в Россіи, но иногда и в эмиграції говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарныя залежи какого то дикаго художественнаго таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедшій? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшед-

шаго, спекулировал своим сумасшествіем. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известій из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письме:

Когда Хлебников умер, о нем в Москве писали без конца, читали лекцій, называли его гением. На одном собраніи, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминанія. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему матеріально: Хлебников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот однажды П. удалось таки вызвать Хлебникова к телефону. – «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянкой и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: Хлебников!» – На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников

тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное – «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был однако удачлив – его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него неделя две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошелиться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова и тот тотчас по-

вел его за город, в степь, а в степи стал говорить; что ему «удалось снестись с со всеми 317ю Председателями», что это великая важность для всего мира, ч так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафэ. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: – «Негодяй! Как ты смел воскреснуть; Ты должен был умереть! Я здесь уже снесся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» – С этих пор отношенія между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашел себе новаго мецената, известнаго булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатаго дня».

Очень лубочная игра в помешанного. А за тем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгодными:

*Нет житья от господ!  
Одолели, одолели!  
Нас заели!  
Знатных старух,  
Стариков со звездой  
Нагишом бы погнать,  
Все господское стадо,  
Что украинскій скот,  
Толстых, седых  
Молодых и худых,  
Нагишом бы все снять  
И сановное стадо  
И сановную знать  
Голяком бы погнать,  
Чтобы бич бы свистал,  
В звездах гром громыхал!  
Где пощада? Где пощада?  
В одной паре быком  
Стариков со звездой  
Повести голяком*

*И погнать босиком,  
Пастухи чтобы шли  
Со взведенным курком.  
Одолели! Одолели!  
Околели! Околели!*

И дальше – от лица прачки:

*Я бы на живодерню  
На одной веревке  
Всех господ привела  
Да потом по горлу  
Провела, провела,  
Я белье мое всполосну, всполосну!  
А потом господ  
Полосну, полосну!  
Крови лужица!  
В глазах кружится!*

У Блока, в «Двенадцати», тоже есть такое:

*Уж я времячко  
Проведу, проведу...  
Уж я темечко  
Почешу, почешу...  
Уж я ножичком  
Полосну, полосну!*

Очень похоже па Хлебникова? Но ведь все революции, все их «лозунги» однообразны до

пошлости: один из главных – режь попов, режь господ! Так писал, например, еще Рылев:

*Первый нож – на бояр, на вель-  
мож,  
Второй нож – на попов, на свя-  
тош!*

И вот что надо отметить: какой «высокий стиль» был в речах политиков, в революционных призывах поэтов во время первой революций, затем перед началам второй! Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком роде:

*Возстань! Карай врагов страны,  
Как острый серп срезает колос  
Вперед! Туда, где шум и крик,  
Где плещут красныя знамена!*

*И когда горячей крови  
Ширь полей вспоит волна,  
Всклосись в зеленой нови,  
Возрожденная страна!*

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И еще пример: революционные стихи Максимилиана Волошина:

*Народу русскому: я – грозный Ангел  
Мщенья!  
Я в раны черныя, в распаханную  
новь  
Кидаю семена! Прошли века тер-  
пенья,  
И голос мой – набат! Хоругвь моя  
как кровь!*

Зато, когда революция осуществляется, «высокий стиль» сменяется самым низким, – взять хоть то, что я выписал из «Песней мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем по хамски:

*Сорвали мы корону  
Со стараго Кремля!  
За заборами низкорослыми  
Гребем мы огненными веслами!*

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

*Взяли мы в шапке  
Нахально сели,  
Ногу на ногу задрав!*

*Исуса – на крест, а Варраву  
Под руки – я по Тверскому!*

Я был в Петербурге в последний раз, – в последний раз в жизни! – в начале апреля 17-го года, в дни проезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главе с нашими тогдашними министрами Временного Правительства, знаменитыми думскими депутатами и говорились финнам истерически подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же, весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. по надо всеми возобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и

стал есть с наших тарелок и шить из наших бокалов; Галлен глядел на него во все глаза – так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горькій хохотал. Я отодвинулся.

– Вы меня очень ненавидите? – весело спросил меня Маяковскій.

Я ответил, что нет: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официальной тоста Милюков, наш тогдашній министр иностранных дел, и Маяковскій кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковскій заорал пуще прежняго. И Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французскій посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русскій хулиган спасует. Как бы не так! Маяковскій мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить

сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритаго моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных:

– Много! Многоо! Многоо!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем. Маяковский и прочие тоже были довольно прозорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но не даром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего: он уже чувствовал, что полифемское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам еще великолепно, чем сделал он один на пиру в честь

Финляндіи...

«Много»! Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательскія воспоминанія. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую міровую войну, вслед за ею 17-ый год: и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствіе: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а все-таки очень съедобных тварей. И вестник міра, благоденствія, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его, – не то что нынешніе голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в міре, лишенном всей допотопной скверны, – не то что наш мір, возвратившійся к допотопному! Вышла, прав-

да, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

Весной того же семнадцатого года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближенных к императору Александру Второму, затем бежал в Англию, где и прожил до русской февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлен при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу, — знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революционера», знаменитый еще и как географ, путешественник и исследователь восточной Сибири и полярных областей, — оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре в обращении. Живые,

ясные глаза, добрый, доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь – и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими заботами о нем, он, революционер, – хотя и весьма мирный, – возвратившийся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революции, наконец-то «освободившей Россию от царизма», его поселили в чьем-то, уже не помню в чьем именно, барском особняке на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В конце этого года шли собрания на этой квартире Кропоткина «для обсуждения вопроса о создании Лиги Федералистов». Конец того года – что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия. Но что «Лига»! Дальше было вот что:

В марте 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру – и стал добиваться

свиданія с Лениным: в преинаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в Россіи, и наконец добился свиданія. Он почему-то оказался «в добрых отношеніях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле это свиданіе. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношеніях» с этим редким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, все-таки был. И мало того: пытался повернуть деянія Ленина «на путь гуманности». А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине говорил о своем свиданіи с ним, разводя руками:

– Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушеніе на него, допустил убить две с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на его никакого впечатленія...

А затем, когда большевики согнали князя анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо (переселяться из Москвы в уездный город Дмитров, а там существовать в столь

пещерных условиях, какія и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил своя дни, пережив истинно миллион терзаний; муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба... Старый, маленькій, несчастный князь мечтал раздобыть себе валенки. Но так и не раздобыл, – только напрасно истратил несколько месяцев, – месяцев! – на получение ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение «Об этике».

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть ни вся жизнь, жизнь человека, бывшего когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революционные мечты, на грезы об анархическом рае, – это среди нас-то, существ, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! – и кончилась смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине, среди наконец-то осуществившейся революции, над рукописью о человеческой этике.

# РАХМАНИНОВ

При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтическіе годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целыя ночи в разговорах о «прекрасном, вечном, о высоком искусстве, впоследствии, до его последняго отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, по все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал; «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокаго друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россія». Мы за ужином

сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии» что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, – было уже поздно, нигде не было ни души, – сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячее и радостнее уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:

*Я в гроте ждал тебя в урочный  
час.  
Но день померк; главою качая сон-  
ной,  
Заснули тополи, умолкли  
гальционы:  
Напрасно! Месяц встал, серебрился  
и угас;  
Редела ночь; любовница Кефала,*

*Облокотясь на рдяныя врата  
Младого дня, из кос своих роняла  
Златые зерна перлов и опала  
На синія долины и леса...*

# РЕПИН

**И**з художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным... Нестеров хотел написать, меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщен, но уклонился, – увидать себя в образе святого не всякій согласится. Репин тоже удостоил меня – он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндіи, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, – писал он мне, – слышу милую весть, что пріехал Нилус, наш художник прекрасный, – ах, если бы мне его краски! – а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет котораго мечтаю написать: пріезжайте, милый, стоворимся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь – быть написанным Репиным! И вот пріезжаю, дивное утро, солнце и жестокій мороз, двор дачи Репина, помещавшагося в ту пору на вегетаріанстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме – все окна настезь; Репин встречает меня в ва-

ленках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут а и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как Господь Бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело, и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедленно спешить назад, на вокзал, – страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом...

# ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве – и в том числе я.

Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский R. E. N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества.хлопоты на счет визы и расходы по поездке клуб взял па себя – и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающей, как геенна огненная, камин, а с другой – полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяйева вдруг распахнули все

окна настежь, не взирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спастись в верхній этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услышал за собой какія то радостныя восклицанія: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел в комнату среди почтительно разступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

– Очень рад, очень рад, – сказал он. – Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку – посмотреть какой вы, пожать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкій и приземистый старик с красным и широким бри-

тым лицом, в просторном и длиннополом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстука, – настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, не писателя со всемирной славой.

# ТОЛСТОЙ

Я чуть не с детства жил в восхищеніи им. Мальчиком я уже имел некоторое «представленіе» о нем, но не из чтенія его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и Мир» наши некоторые соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», то есть один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой – наоборот. В отрочестве чувства к Толстому были у меня уже не простыя. Отец говорил:

– Я его немного знал. (Во время севастопольской кампаніи встречал, играл с ним в карты в осажденном Севастополе...)

И, помню, я на него смотрел с восторженным удивлением; живого Толстого видел!

С той поры писатели были для меня уже существами какого-то совсем особаго рода, к которым я испытывал какое-то непередаваемое чувство, котораго я и до сих пор не умею определить, как не умею сказать, как, когда и почему я сам стал писателем. Ответить на это

для меня так же невозможно, как на то, с каких пор и как вообще я стал тем, что я есть. Когда же (как-то само собою) решилось, что мне надлежит был только писателем, моей второй жизнью стала жизнь в том мире, где поэты, писатели. Не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выделил его из прочих. Бывает, что человек открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумлением. Этого сомной по отношению к Толстому не было, такой минуты я не помню. Вообще то прекрасное, что я встречал в детстве, отрочестве, молодости, кажется, никогда не удивляло меня, — напротив, у меня было такое чувство, точно я знал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним.

А затем долгие годы я был по настоящему влюблен в него, в тот мной самим созданный образ; который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Раз я не выдержал, в один прекрасный летний день внезапно оседлал своего верхово-

го киргиза и закатился на Ефремов, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не больше ста верст. Но, доскакав до Ефремова, струсил, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове – и всю ночь не мог заснуть от волнения, от поминутной смены решений, ехать или не ехать, скитался всю ночь по городу и так устал, что, зайдя на разсвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного – и поскакал назад, домой, где работники сказали мне:

– Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились вы так обработать киргиза за одни сутки; За кем это вы гонялись?

После того я напрасно «гонялся» за Толстым еще несколько лет.

В молодости, плененный мечтами о чистой, здоровой и доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, в братской дружбе не только со всеми бедными и угнетенными людьми, но и со всем растительным и животным миром, главное же опять таки от влюбленности в Толстого, как

художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось не мало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. В общем это был совершенно несносный народ; но я терпел. Первый кого я узнал, был некто Клопский, человек довольно известный в то время в некоторых кругах и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Коронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в высоких сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. Среди полтавских толстовцев был доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре

большой барин, кое в чем походившій на Стиву Облонскаго. И вот, явившись в Полтаву, Клопскій первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавскіе салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопскій говорит, например, такіа вещи:

– Да, да, вижу, как вы тут живете: лжете, да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которыя уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мір? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова; приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «ваш билет». Я его спрашиваю: а что это значит, какой собственно билет? Отвечает: но билет, по которому вы едете? А я ему опять свое: позвольте, я не по билету, а по рельсам еду. – Значит, говорит, у вас билета нету? – Конечно, говорю, нету. – В таком случае мы вас на следующей станціи высадим. – Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать. На

следующей станці действительно являются: пожалуйста выходить. Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо. – Значит, вы выходить не желаете? – Разумеется, нет. – Тогда мы вас выведем. – Выведете? Но я не пойду. – Тогда вытащим, вынесем. – Что же; выносите, это ваше дело. – И вот, меня, действительно, тащут: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать...

Таков был этот в некотором роде знаменитый Клопскій. Прочіе были не знамениты, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленькій молодой человек болезненной, но редкой красоты, бывшій паж, тоже мучившій себя мужицким трудом и тоже лгавшій и себе, и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожій на матераго русскаго мужика, ставшій впоследствии известный под именем Теноромо, «человек, державшійся всегда с необыкновенно

венной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «ученіи», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидеть его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братія смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн – это было в самом конце девяносто третьяго года – вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернію, к мужикам села Хилково, – принадлежавшаго известному толстовцу князю Хилкову, – а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть чорт знает что, хотя

Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

– Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими: я не раб их, хочу – ем, хочу – не ем...

Трудно было ехать потому больше всего» что я сгорал от нетерпенія поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а кроме того пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общеніе с ними и «укрепить» и себя и их этим общеніем на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали – пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на виде мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопенія, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедскіе споры о Писаніи истинно всеми силами души. Наконец, перва-

го января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С новым годом, Александр Александрович!» – за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит – новый год, понимаю ли я, какую старую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущій вздор, – завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому вечером, сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: – «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу» – и убежал. А вернулся домой очень поздно и даже ничего не рассказал о споем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» – при чем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды,пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбер-

ген его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот, слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники.

Как рассказать все последующее? Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулочек. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, сад я над ним тихо играющія разноцветными лучами сказочно прелестныя зимнія звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значенія эти освещенныя окна; ведь за ними – Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце – и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и убежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню.

Тотчас же отворяют – и я вижу лакея в маленьком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, со множеством шуб на вешалках, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

– Как прикажете доложить?

– Бунин.

– Как-с?

– Бунин.

– Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

– Пожалуйста обождать наверх, в залу... А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине его налево тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка и из-за нея быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, – ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в кори-

дор, – кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной. Даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькіе глаза вовсе не страшные и не острые, а только по звериному зоркіе. Легкіе и жидкіе остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по крестьянски разделены на прямой пробор, очень большія уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

– Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву?

Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь пожалуйста и расскажите мне о себе...

Он и заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из нея, отвлечь от нея меня. Что он еще говорил? Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте себе мундира из нея, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только очень мягкую серую матерію его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий слегка альтовый голос с характерным звуком

несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: – и? гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:

– Лон, – сказала она, ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых вое была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

– Ну, до свиданія, до свиданія, дай вам Бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его, – цените их, живите ими...

И я ушел, убежал, совершенно вне себя, и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с такой разительной яркостью и в такой дикой путанице, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, про-

сыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брешу...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должного разрешения продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорен сидеть в тюрьме, – от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царский манифест – затем завел книжную лавку, полтавское отделение «Посредника», и так запутал счета, что порою примеривался повеситься. В конце концов я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещеніи, наставляя друг друга на счет «доброй» жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не

снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный братіей, серьезно делавшей ему порою такіе вопросы: «Лев Николаевич, но что же я должен был бы сделать, если бы па меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался и говорил:

– Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Вспоминаю еще, как однажды сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

– Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.

Он слегка нахмурился:

– Какія общества?

– Общества трезвости...

– То есть, это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, не зачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действія видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой

лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

– Войдите, – ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, верно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, – «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел безтактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

– Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер, худое, тем-

ное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в те дни – не задолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нем:

– Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит – умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному, белому Девичью Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил – отрывисто, строго, резко:

– Смерти нету, смерти нету!

В последний раз я видел его лет через десять после того. В страшно морозный ветер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел по Арбату – и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он тоже приостановился и сразу узнал меня:

– Ах, это вы! Здравствуйте, надевайте, по-

жалуйста, надевайте шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то связанное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и нежно несколько раз пожал ею мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями.

– Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

*1927 г.*

# ЧЕХОВ

## I

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Мне запомнилось несколько характерных фраз его.

– Вы много пишете? – спросил он меня как-то.

Я ответил, что мало.

– Напрасно, – почти уग्रюмо сказал он своим низким грудным голосом. – Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

– По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем... И короче, как можно короче надо писать.

После Москвы мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав этой весной на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил его на набережной.

– Почему вы не заходите ко мне? – сказал он. – Непременно приходите завтра.

– Когда? – спросил я.

– Утром, часу в восьмом. И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

– Мы встаем рано. А вы?

– Я тоже, – сказал я.

– Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе? Утром надо пить не чай, а кофе. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром – кофе, в полдень – бульон.

Потом мы молча прошли набережную и сели и сквере на скамью.

– Любите вы море? -

– Да, – ответил он, – Только уж очень оно пустынно.

– Это-то и хорошо, – сказал я.

– Не знаю, – ответил он, глядя куда-то вдаль и, очевидно, думая о чем-то своем. – По моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

– Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной

ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

В Москве я видел человека средних лет, высокаго, стройнаго, легкаго в движеніях; встретил он меня приветливо, но так просто, что я принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице, двигался медленнее, голос его звучал глуше. Но, в общем, он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом теченіи своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо. На другое утро после встречи на набережной я поехал к нему на дачу. Хорошо помню это солнечное утро, которое мы провели в его садики. С тех пор я начал бывать у него все чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим изменилось и отношеніе его ко мне, стало сердечнее, проще...

Белая каменная дача в Аутке, ея маленькій

садик, который с такой заботливостью разводил он, всегда любивший цветы, деревья, его кабинет, украшением котораго служили только две-три картины Левитана да большое полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину Учан-Су и синий треугольник моря, те часы, дни, иногда даже недели, которыя проводил я на этой даче, навсегда останутся памятны мне...

Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепья прозвища; как только ему хоть немного становилось лучше, он был неистощим на все на это. Любил разговоры о литературе. Говоря о ней, часто восхищался Мопассаном, Толстым. Особенно часто он говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

– Не могу понять, – говорил он, – как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Часто говорил:

– Никому не следует читать своих вещей до напечатанія. Никогда не следует слушать

ничьих советов. Ошибся, соврал – пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. В работе надо быть смелым. Есть большія собаки и есть маленькія собаки, но маленькія не должны смущаться существованіем больших: все обязаны лаять – и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал.

Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбія. Но он действительно радовался всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, высшей бранью в его устах. К своим собственным литературным успехам он относился с затаенной горечью.

– Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

– Знаю-с я эти юбилеи! Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминія и, целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!

– Читали, Антон Павлович? – скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

Он только лукаво покосится поверх

пенсне:

– Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят; «а вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист?» Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ – «Студент». И слово-то противное; «.пессимист...»

И порою прибавит:

– Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

– Садитесь писать нужно, только тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, – сказал он однажды.

«Публикует «Скорпион» о своей книге неряшливо, – писал он мне после выхода первой книги «Северных Цветов». – Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в «Русских Ведомостях», поклялся больше уже

никогда не водиться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами».

Он дал тогда, по моему настоянью, в альманахах «Скорпиона» один из своих юношеских рассказов («В море»). Впоследствии в этом рассказе:

– Нет, все это новое московское искусство – вздор, – говорил он. – Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение искусственных минеральных вод». Вот и это то же самое. Новое только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.

Одно из моих последних воспоминаний о нем относится к ранней весне 1903 года. Ялта, гостиница «Россія». Уж поздний вечер. Вдруг зовут к телефону. Подхожу и слышу:

– Милодарь, возьмите хорошаго извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.

– Кататься? Ночью? Что с вами, Антон Павлович?

– Влюблен.

– Это хорошо, но уже десятый час. И потом – вы можете простудиться...

– Молодой человек, не разсуждайте-с!

Через десять минут я был в Аутке. В доме,

где он зимою жил только с матерью, была, как всегда, тишина, темнота, тускло горели две свечи в кабинете. И, как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого кабинета, где, для него протекло столько одиноких зимних вечеров.

– Чудесная ночь! – сказал он с необычайной для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня. – А дома – такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да кто-нибудь спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедьте в Орианду.

Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками. Экипаж катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестящую равнину моря. Потом пошел лес с легкими узорами теней, за ним зачернели толпы кипарисов, возносившихся к звездам. Когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, он внезапно сказал, приостанавливаясь:

– Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.

– Почему семь? – спросил я.

– Ну, семь с половиной.

– Вы грустны сегодня, Антон Павлович, – сказал я, глядя на его лицо, бледное от лунного света.

Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но, когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.

– Это вы грустны, – ответил он. – И грустны оттого, что потратились на извозчика.

А потом серьезно прибавил:

– Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам...

Прожил он не шесть лет, а всего год с небольшим.

Одно из его последних писем я получил в январе следующего года в Ницце:

«Здравствуйте, милый И. А.! С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет – неизвестно... Очень возможно,

что в феврале я приеду в Ниццу... Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, питайте почаще Вашим друзьям... Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурых северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю».

*1904 г.*

## II

Однажды он сказал (по своему обыкновенно, внезапно):

– Знаете, какая раз была история со мной? И, посмотрев некоторое время в лицо мне через пенсне, принялся хохотать:

– Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного Собранія, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да, пойми же ты, что ты теперь первый, первый писатель в Россіи!» – И вдруг ви-

дит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он...»

Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них:

– На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова...

– Позвольте, – говорю я, – а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?

– Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать...

И, помолчав, с новым смехом:

– И про Художественный театр...

В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):

– Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую, всегда думаешь, что у нея

под корсажем жабры?

Не раз говорил:

– В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница...

– Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости...

– Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умней и талантливей этой актрисы...

– Савина, как бы там ни восхищались ею, была на сцене то же, что Виктор Крылов среди драматургов...

Иногда говорил:

– Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положеніи, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантскія роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями... Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден! Как восхищался Давыдовой! Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк: «Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте

хоть пятьдесят рублей авансу». – «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу только тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ». А иногда говорил совсем другое:

– Писатель должен быть баснословно богат так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи... Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор – три аршина земля нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно – писателю...

Говоря о Толстом, он как-то сказал:

– Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презревшем ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня...

Отчего хвалит? Оттого, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детскія игры, и поэтому он, в сущности, одними глазами глядит и на Мопассана и на Семенова. Вот Шекспир – другое дело. Это уже взрослый и раздражает его, что пишет не, по-толстовски...

Однажды, читая газеты, он поднял лицо а, не спеша, без интонацій, сказал:

– Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горькій и Чехов...

Теперь он выявлен. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был он человек, душа скрытая.

Замечательная есть строка в его записной книжке:

– Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу один.

В ту же записную книжку он занес такіа мысли:

– Как люди охотно обманываются, как любят они пророков, вещателей, какое это стадо!

– На одного умнаго полагается 1000 глупых, на одно умное слово приходится 1000

глухих, и эта тысяча заглушает.

Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нея он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги»... Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, – помню, как некоторые из них искренно хохотали надо мной, юнцом, когда я осмелился сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать-то никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте:

«Нельзя представить себе, говорили они, чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой».

Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторил-

лось его имя на афишах, что запомнились: «22 несчастья», «глубокоуважаемый шкаф», «человека забыли»... Он часто сам говорил:

– Какие мы драматурги! Единственный, настоящий драматург – Найденов: прирожденный драматург, с самой, что ни на есть драматической пружинкой внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех иметь, что только ахнешь!

И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:

– Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем, и обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этаким энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»

Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «больным талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равно-

душно.

Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку...» Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».

Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевский; «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям... Его всегда влекли к себе тихія долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами...» Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота и задушевность», приписывает ему «печаль о призраках». Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его безошаднейшим талантом.

Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко; сам он говорил прекрасно – всегда по-своему, ясно, пра-

вильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравненія, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыкновенные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.

К «высоким» словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаніях о нем: «Однажды я пожаловался Антону Павловичу: «Антон Павлович, что мне делать? Меня рефлексія заела!» И Антон Павлович ответил мне: «А вы поменьше водки пейте.»

Верно, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к неосторожному обращенію со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами:

– Это стоит всего Урениуса, – сказал он однажды, вспомнив «Парус» Лермонтова.

– Какого Урениуса? – спросил я.

– А разве нет такого поэта?

– Нет.

– Ну, Упрудиуса, – сказал он серьезно.

– Вот умрет Толстой, все к чорту пойдет! го-

ворил он не раз.

– Литература?

– И литература.

Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:

– Какіе они декаденты, они здоровеннейшіе мужики! Их бы в арестантскія роты отдать...

Про Андреева тоже не лестно:

– Прочитаю страницу Андреева – надо после того два часа гулять на свежем воздухе.

Удовольствіе, с которым он хохотал всегда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.

Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтенія, никого не заставлял страдать от самолюбія, чувствовать себя забытым, лишним. И всех неизменно держал на известном разстояніи от себя.

Чувство собственнаго достоинства, независимости было у него очень велико.

– Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нея блеснят глаза в темно-

те! – Серьезно, я его боюсь, – говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.

И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:

– Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!

И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь:

– А эти шириной с Черное море! Подумает: нахал...

Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторан, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке.:

– Господа! Я предлагаю тост за присутствующаго среди нас Антона Павловича, гордость вашей литературы, певца сумеречных настроений...

Побледнев, он встал и вышел.

Я подолгу жывал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вече-

ром, и он говорил:

– Приезжайте завтра пораньше.

Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу с едва уловимой улыбкой на бледных губах, отдельно повторял:

– Ну, убедительнейше вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с моей женой, венгеркой Книпшиц... Будем говорить о литературе...

Я приезжал и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей». Иногда попадалось кое-что обо мне, чаще всего что-нибудь очень неумное, и он спешил смягчить это:

– Обо мне же еще глупее писали, обо мне говорили еще злее, а то и совсем молчали...

Случалось, что во мне находили «чеховское настроеніе». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:

– Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «море пахнет арбузом... Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку – другое дело...

– Про какую курсистку?

– А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейшій почтовый поезд... А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьяго класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстаго господина, высунувшагося из друго-го окна...

Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.

– Что такое вы прочли?

– Самарскій купец Бабкин, – хохоча, отвечал он тонким голосом, – завещал вое свое состояніе на памятник Гегелю.

– Вы шутите?

– Ей Богу, нет. Гегелю.

А то, опуская газету, внезапно спрашивал:

– Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаніях?

– Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.

– Да вы мне в дети годитесь.

– Все равно. В вас народная кровь.

– А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоровеннейшій мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитныя капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его от геморроя вылечил. А в воспоминаніях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек.»

– Это про меня писали, – говорил я, – писали, будто я симпатичное дарованіе.

Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствіем, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно правилось.

– Постойте, а как это про вас Короленко написал?

– Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».

Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:

– Все-таки это лучше, чем про меня писали. Нас, как в бурсе, критики каждую субботу драли. И поделом. Я начал писать, как последний сукин сын. Я ведь пролетарий. В детстве, в нашей таганрогской лавочке, я сальными свечами торговал. Ах, какой там проклятый холод был! А я все таки с наслаждением заворачивал эту ледяную свечку в обрывок хлопчатой бумаги. А нужник у нас был на пустыре, за версту от дома. Бывало, прибежишь туда ночью, а там жулик ноцует. Испугаемся друг друга ужасно! – Только вот вам мой совет, – вдруг прибавлял он: – перестаньте быть дилетантом, сделайте хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать – из-за куска хлеба, но в

некоторой мере обязательно надо быть масте-  
ровым, а не ждать все время вдохновенья.

Потом, помолчав:

– А Короленке надо жене изменить, обяза-  
тельно, чтобы начать получше писать. А то  
он черезчур благороден. Помните, как вы мне  
разказывали, что он до слез восхищался од-  
нажды стихами в «Русском Богатстве» како-  
го-то Вербова или Веткова, где описывались  
«волки реакціи», обступившіе певца, народ-  
наго поэта, в поле, в страшную мятель, и то,  
как он так звучно ударил по струнам лиры,  
что волки; в страхе разбежались? Это вы  
правду разказывали?

– Честное слово, правду.

– А кстати: вы знаете, что в Перми все из-  
возчики похожи на Добролюбова?

– Вы не любите Добролюбова?

– Нет, люблю. Это же порядочные были лю-  
ди. Не то, что Скабичевскій, который писал,  
что я умру под забором от пьянства, так как у  
меня «искры Божьей нет».

– Вы знаете, – говорил я, – мне  
Скабичевскій сказал однажды, что он за всю  
свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с

одним мужиком не разговаривал.

– Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал... Да, страшно вспомнить, что обо мне писали! И кровь-то у меня холодная, – помните у меня рассказ «Холодная кровь»? – и изображать-то мне решительно все равно что именно – собаку или утопленника, поезд или первую любовь... Меня еще спасали «Хмурые люди», находили, что это рассказы все таки стоящие, потому что там будто бы изображена реакция восьмидесятых годов. Да еще рассказ «Припадок» – там «честный» студент с ума сходит при мысли о проституции. А я русских студентов терпеть не могу – они же лодыри...

Раз, когда он опять как то стал шутя приставать ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях, я ответил:

– Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году, в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. Но вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а поэт все читает свои стихи, все больше и

больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал и свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно:

«Позвольте, господин, я сам найду...» Поэт на него зверем: «Молчать, не мешай!» – «Но, позвольте, господин, это не ваше пальто...» «Как, негодяй? Значит я чужое пальто беру?» – «Так точно, чужое-с». – «Молчать, негодяй, это мое пальто!» – «Да нет же, господин, это не ваше пальто!»

– «Тогда говори сію же минуту, чье»  
«Антон Павловича Чехова».

Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» – «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». – «Так, значит, он здесь?» – «Всегда у нас останавливаются...» И вот, мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали – видели только ваш, номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьяго царства».

Он подтирал со смеху и говорил;

– Кто этот поэт, догадываюсь. Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?

– Простите, дорогой, не удержались.

– А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо – закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.

Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то, на именинах моего отца, (фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге».

Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.

Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:

– Ровно сто сюжетов! Да-с, милодарь! Не вам, молодым, чета! Работник! Хотите, парочку продам?

Иногда он разрушал себе вечерняя прогул-

ки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, – за последние дни много смочил платков кровью, – молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:

– А слышали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!

Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:

– Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина

Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»

– Ах, что вы, что вы! – воскликнул он. – Это же чудесно – плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!

И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть не оригинальные, таланта, в сущности, лишённые, потому что способность равняется уменью приспособляться и «живет она лег-

ко», а талант мучится, ища проявленій себя.

По берегам Чернаго моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищеніем сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.

Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа па девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.

Руки у него были большія, сухія, пріятныя. Как почти все, кто много думает, он нередко забывал то, что уже не раз говорил.

Помню его молчаніе, покашливание, прикрываніе глаз» думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».

Крымский зимній день, серый, прохладный, сонныя густыя облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгеніи Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом

встает, надевает пальто, шляпу, кожанная мелкия калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку... Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора...

Была ли в его жизни, хоть одна большая любовь? Думаю, что нет.

«Любовь, – писал он в своей записной книжке, – это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь.»

Что думал он о смерти?

Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертіе, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме – суццій вздор:

– Это суеверіе. А всякое суеверіе ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертіе – вздор.

По потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:

– Ни в коем случае не можем мы исчезнуть без следа. Обязательно будем жить после смерти. Бессмертіе – факт. Вот погодите, я докажу вам это...

Последнее время часто мечтал вслух:

– Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот...

Его «Архіерей» прошел незамеченным – не то что «Вишневый сад» с большими бумажными, цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Винта», «Мужиков», Художественного театра!

«Через месяц был назначен новый викарный архіерей, а о преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойнаго, которая живет теперь в глухом уездном городишке, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нея был сын архіерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят... И ей в самом деле не все верили...»

Последнее письмо я получил от него из-за границы, в середине іюня 1904 года, живя в деревне. Он писал, что чувствует он себя недурно, заказал себе белый костюм, огорчается только за Японію, «чудесную страну», которую, конечно, разобьет и раздавит Россія. Четвертаго іюля я поехал верхом в село на почту, взял там газеты, письма и завернул в кузницу перековать лошади ногу. Был жаркій и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя па пороге кузнецовой избы, – и вдруг точно ледяная бритва полоснула мне по

сердцу...

Смерть его ускорила простуда. Перед отъездом из Москвы за границу он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости...

Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и котораго Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:

– Погребальныя дроги стоймя.

*1914 г.*

### III

Года полтора назад я публично читал в Париже мои литературныя воспоминанія и, оговорившись, что считаю Чехова одним из самых замечательных русских писателей, позволил себе сказать, что не люблю его пьес, что они, по-моему, все очень плохи и что ему не следовало бы писать пьесы из дворянска-

го быта, котораго он не знал. Это вызвало во многих негодование против меня, обиды. Е. Д. Кускова написала по поводу этих воспоминаний два больших фельетона в «Новом Русском Слове». «В Женеве, писала она, и старики, и молодые обиделись на Бунина за Чехова, за Бальмонта, за Горькаго... Этих писателей любят и сейчас, Чеховым зачитываются, хотя, казалось бы, эта старая, унылая Русь с ее нытиками ушла в прошлое...» Вот это было уже подлинное оскорбление Чехова – низводить его до бытописателя «старой, унылой Руси». Вот на Е. Д. Кускову следовало бы оскорбиться весьма основательно, а женевским «старикам» не мешало бы помнить, что Горкий называл их, русских интеллигентов, со свойственной ему гадкой грубостью, «чуланом с тухлой провизией». Следовало бы обидеться еще и на знаменитую артистку Ермолу. Среди ее опубликованных писем есть между прочим такое письмо к ее другу, ялтинскому доктору Середину: «Вы спрашиваете, отчего мни не нравится повесть Чехова «В овраге»? Но потому, что чеховщина есть для меня символ беспросветной тьмы, всевоз-

можных болезней и печали». Зато Горькаго считала «милой, светлой личностью» и про-сила Середина: «Вы с Горьким близки, не да-вайте ему сбиваться с этой светлой нотки, ко-торая так сильно звучит в его произведени-ях...» Читаешь и глазам своим не веришь! «В овраге» одно из самых прекрасных во всех отноше-ниях созданий русской литературы, но для Ермоловой это «чеховщина, символ без-просветной тьмы», зато Горькій – «милая светлая личность», у него, написавшего вели-кое множество нарочито грязных злобных, мрачных вещей, «сильно» звучала, оказыва-ется, «светлая нотка»!

*1950 г.*

# ШАЛЯПИН

**В** Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходиться с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею

перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

– Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек, вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

– Спасибо, – сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили – ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

– Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба. Скиталец обиделся:

– Почему же это свадьба да еще собачья?

– ответил он своим грубо-наигранным басом.

– Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

– А как же это назвать иначе? – сказал я.

– Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякія напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День в ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:

– Bravo, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снима-

емся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.

– Да, – подхватил Горькій. – писал, писал – и окошел.

– Как, например, я. – сумрачно сказал Андреев. – Околею в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

Вей считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революціонное, сатанинское, издевательство над королями:

*Жил был король когда-то.  
При нем блоха жила...*

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем – по всей Россіи прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущенію Шаляпинным не было конца краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешеніи!

– А как же мне было не стать на колени? –

говорил он. — Был бенефис императорскаго опернаго хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутвіем царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и, стал. И что же мне, тоже павшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклоненія, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

В Россіи я его видел в последній раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаяпиным получил приглашеніе от Горькаго присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горькій должен был держать речь по поводу учрежденія им какой-то «Академіи свободных наук». Не понимаю, не помню, почему, мы с Шаяпиным получили приглашеніе на это во всех смыслах нелепое сборище. Горькій держал свою речь весьма

долго, высокопарно и затем объявил:

– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

– Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

– Вот, брат, какое дело: и петть нельзя и не петть нельзя, – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петть я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. За то в конце концов ухитрился сбежать от них.

В июне 37го года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необычно-

венно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, – это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, – войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видела. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонацій. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

– Ну что, как я пел?

– Конечно, превосходно, – ответил я. И пошутил: – Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

– Спасибо, милый, пожалуйста подпевай, – ответил он со смутной улыбкой. – Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы – это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

– Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно, Ради чего дал он этот последний концерт? Ради Того, вероятно, что чувствовал себя па исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:

– Бесплатно только птички поют.

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, – навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистаго величія я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне

простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

– Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренно убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, – высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, – ему было тогда лет двадцать пять, – особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздра-

жаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

– Слава подобна морской воде, – чем больше пьешь, тем больше жаждешь, – шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удачу, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

– Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горькій, Шаляпин поднялись со дна моря на-

роднаго»... Точно ли «со дна»? Родитель, служившій в уездной земской управе, ходившій в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаніях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, – например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво; говорившій ему о пеніи:

– Пой, Федя, – на душе веселей будет! Песня – как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, – от пріятельства с кузнецом до пріятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанція не малая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношеніях: поистине дал ему Бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствій по всему міру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой све-

жестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и, где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на ты однажды ночью в Большом Московском Трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, проезжая в Москву, иногда жил подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что

В тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сіу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сіу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр – и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой изступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал таким волжским тенорком:

– Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

– Не забывай, – сказал я, – что живу я на пятом этаже и не так мал.

– Ничего, милый, – ответил он, – как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца – потребовал в номер бутылку «столетняго» бургонскаго за целых сто рублей (которое, оказалось похоже на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, – и чаще всего самыми крепкими, – жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

– Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

– Ты умный, Ваня, – ответил он сладким го-

ворком, – только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

– Надоел ты мне со своей Русью! – сказал я.

– Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

– За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, – помни, кто ты и кто они.

– Чем же я от них отличаюсь?

– Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос во всяком случае не «литература».

– Пьяные, Ваня, склонны льстить.

– И то правда, – сказал я, смеясь. – А ты все-таки замолчи и запахнись.

– Ну, ин будь по твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рывкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшейся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радужного человека. Там мы читали друг другу свои писанія, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтенія, – хотя терпеть не мог слушать, – иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел – то народныя русскія песни, то французскія шансонетки, то Блоху, то Марсельезу, то Дубинушку – и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

– Братцы, петъ хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же;

– Петъ до смерти, хочется! Возьми лихача и немедленно приезжай. Будем петъ всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был – соединеніе Шаляпина и Рахманино-

ва. Шаляпин в ют вечер довольно справедливо сказал:

– Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горькаго и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

– Помнишь, как я пел у тебя на Капри? Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

– Не плохо пел! Дай Бог так-то всякому!

**1938 г.**

# ГОРЬКІЙ

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, – странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, – начало это относится к 1899 году. А конец – к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорали, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

– L'erivain Maxime Gorki est dcd... Alexis Pehkoff connu en littrature sous le nom Gorki, tait n en 1868 Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques...

Еще одна легенда о нем. Босьяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горькаго точнаго представлення. Кто знает его біографію достоверно? И почему большевики, провозгласившіе его величайшим геніем,

издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографий? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно безпримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для его носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы заполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босьяк, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горькій-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы; мать — дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее —

никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горькаго, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте – учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурога, человека сказочной силы, грубости и – нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный Горьковский образ! «Смурый привил мне, дотолє люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и, я до безумія стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желаніе учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но «казалось, что оно не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведете. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцію яблоками... В свое время был призван к отбыванію воинской повинности, но, когда обнаружи-

лось, что дырявых не берут, поступил в писемоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенції совсем не на своем месте и ушел бродить по Югу России...»

В 92м году Горькій напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодію плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил:

«Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенції, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими:

созданиями горьковского пера: «Емельян Пилляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Горький и сатирами – например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», – был известен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской Газете»), подписываясь так: «Іегудіил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем: в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущаго рядом с ним, что-то басом гудящаго и все время высоко взмахивающаго руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве опи-

сывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаша, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражій, а просто высокій и несколько сутулый, рыжій парень с зеленоватыми, быстрыми и, уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ея мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатленіе. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаніями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был безконечно длинный и безконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков,— скучный

прежде всего по своему однообразію гиперболичности, – все эти богачи были совершенно былинные исполины, – а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горькій все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружескаго сближенія, с его стороны несколько даже сентиментальнаго, с каким-то застенчивым восхищеніем мною:

– Вы же последній писатель от дворянства, той культуры, которая дала міру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горькій позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенькаго цвета и сказал с этими гримасами:

– Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем

на набережной, при Чехове: милый, шумливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае – с одинаковым удовольствіем, одинаково неустанно, – впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне; входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружались и некоторые другія его черты, который я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, – на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбія, честолюбія, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, – когда же мы оставались глаз на глаз

или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромн и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожаніи культуры и литературы, разговор о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

– Понимаете, вы же настоящій писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокоаго художественнаго искусства русской литературы. Наш брат, писатель для новаго читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, -только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоуниженіе, которое паче гордости. Но была и искренность – можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши, и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, – пусть простят мне это слово, –

воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, – я не мало видал таких походов в одесском порту. У него были большія, ласковыя, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросшій волосами, закинутыми назад и! довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны – кожа лба и; брови все лезли вверх к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, – то, что потом так сказалось у его сына Максима, котораго я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостнаго визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей Россіи. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенція сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революціонности,

мало того, что Горькій так отвечал этой революціонности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горькій уничижал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горькаго тотчас делалось всероссійским событіем. И он все менялся и менялся – и в образе жизни, и в обращеніи с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «Знаніе»... Он уже писал для художественнаго театра, артистке Книппер делал на своих книгах такіе, например, посвященія:

– Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманіем, вдруг отнимал у

счастливица все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общаго пользованія какую-нибудь сентенцію или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличіем поднимая вверх брови к складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли па своих лицах меняющіяся выраженія его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращеніе к нему его имя:

– Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем – с ним это случилось очень быстро, – цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, – его уже называли унтером, – на лице появилось много морщин, во взгляде – что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, – сама Ермолова и уже старая в ту пору! – подошла к нему и поднесла ему подарок – чудесный портсигарчик из китоваго уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нея слезы на глаза выступили:

– Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

– Я хотела выразить вам. Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

– «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андрей, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, – были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участво-

вал в «Сборниках Знанія». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочія; – больше всего из-за марки «Знанія», – тоже не плохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знанія» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он – 1000 рублей: большія деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство; начал собирать редкія древнія монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в Россіи сколько угодно).

Я всегда дивился – как это его на все хватает: изо дня в день на людях, – то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, – говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов – и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что

он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знаніи Россіи. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу Россіи». Когда я его узнал, он уже нигде, не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московскаго декабрьскаго возстанія, эмигрировал через Финляндію за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, – до 1914 года. Тут, вернувшись в Россію, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. (В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее пріятен мне.

В начале апреля 1917 года мы разстались с

ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академіи свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведерко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

**1936 г.**

# ЕГО ВЫСОЧЕСТВО

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».

В пакете – пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни» – статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке..

Это был удивительный человек.

Алданов назвал его человеком «совершенно удивительной доброты и душевнаго благородства». Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя, -Петр Александров, – в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающагося одним из самых древних в

Европе, – последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, – был правнук Императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольге Александровне).

Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного и штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывший генерал...» Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде,



Ольденбургскій. Разве вы не видели? Вон он, стоит у двери.

— Но как же это — «просит позволенія представиться»?

— Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный...

А затем я узнал, что он пишет рассказы из народнаго быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он приехал ко мне и привез ту самую книжечку, на счет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографіи Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавіем «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит:

«Средневековья хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских... Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью... А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желаніе вступить в Народно-Соціалистическую партію! Разные были в Россіи великіе князья. Были и такіе, что в

1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургскій не нацеплял на себя этой ленточки.

Тесная дружба, закреплённая в детстве, в день 1-го марта 1881 года» – день убійства императора Александра II, – связывала его с Николаем II – и едва ли кто другой так безкорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже «переубедить» царя и, не доверяя своей силе убежденія, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже даёт представление об образе мысли и о душевном облике Ольденбургскаго. В нём не было ничего от «краснаго принца», от обязательнаго для каждой династіи Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно пріобрести в его положеніи...»

Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике». Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революціи и страстно отдаю-

щихся Христу. Его заветам братской любви между людьми, – «единственного спасения мира во всех его страданиях», – писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:

– Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок... Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное...

Достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нем есть такие строки:

– «Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две

борзья собаки, белый кобель и красная; сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленым. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения...»

– «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. «Ату его, ату его!» – что есть силы кричу я, скача за собаками белый кобель достает его, сшибает на зеленя...»

«еду проселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно... Зачем не слышу я Ея звонкого смеха, не вижу Ея больших добрых глаз, Ея ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»

– «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепи... Недалеко от

церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы: – Семен, а Семен, несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. – Из сарая выходит маленькій плотный мужик, подходит к лошади, здороваётся, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.

– Здравствуй, Семен. Не зайдёшь ли сегодня ко мне вечером посидеть, побеседовать? – робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. – Что ж, зайду, спасибо, – отвечает он просто, теребя второченного русака...»

– «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево – флигельке, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы... Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю...»

Зная, что в этих строках нет ни одного сло-

ва выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:

– Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, – то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда то... то есть, тогда, когда мы разошлись с Олей... с Ольгой Александровной...

Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвший при посторонних Николая II – Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые революционеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно ис-

кренно воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!»). Ответить на этот вопрос, – что за человек был он, – я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальны»...

Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них:

– ... Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде... По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-дэ-Люз... Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатаго еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике... Очень соскучился по парижским знакомым... Переносюсь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем добраго отношенія ко мне...

(1921 г.)

– ... Спасибо Тебе, большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно... Приезжайте в наши края, тут и теплее и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-дэ-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них, как дома... (1921 г.)

... Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует... Настроение у меня не радостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины... (1922 г.)

... Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты для меня сделал... Начал писать задуманную

повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко... Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Парижі... (1922 г.)

В сущности я знал его мало: встречал не часто, – мы все жили в разных местах, – до эмиграции даже не видал никогда, сведений о его прежней жизни, в Россіи, имею немного:

До войны он, в чине генерала-майора, командовал стрелками императорской фамилии... в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губернии, где мужики – тоже довольно странная история – предлагали ему кандидатуру в Учредительное Собрание... потом, с наступлением террора, бежал во Францію и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из Россіи и неотлуч-

но находившемся при: нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)... Неизвестен мне полностью и его характер, – Бог выдает, может быть, были; в нем кроме» тех черт, которыя знал я, и другія какія-нибудь. Я же знал только прекрасные: эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращеніи с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремленіе ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость...

Сперва он жил под Парижем, – и тут мы встречались чаще всего, – потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумленію, вторично женился: встречаю его как то в нашем консульстве (это было еще до признанія Франціей большевиков, тогда, когда Посольство на улице Гренелль еще оставалось в нашем эмигрантском распоряженіи) и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представляю сейчас мо-

ей невесте... Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы...»  
Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после, того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас удивленно вскакивает, спешит навстречу:

– Боже, как я рад! Вот не чаял!

– А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

– Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом...

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории. Но не помогла и санатория: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался – в бедности, в полном одиночестве...

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволения приехать. «Умоляю Тебя, как только это будет

Тебе возможно, назначь мне свиданіе по очень важному для меня делу...» И вскоре, как то вечером, приехал – едва живой, задыхающейся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти...

– Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значеніе мое удостоверение?

– Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.

Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая Россіи, успокоенія в родной земле.

**1931 г.**

# КУПРИН

Это было давно – когда я только что узнал о его существовании, впервые увидел в «Русском Богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:

– Я – Куприн и всякаго прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого зверинаго – чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарскаго! Насчет многоаго, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был офицером, на русско-австрийской границе, а

затем чем только не был! Изучал зубо­враче­бное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, акте­ром, мелким журналистом...

Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про, ее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тубетейку, бывал в ней в гостях и, в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть

их при случае своей милостью, а он, грузный, большелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим, шопотом: «геть сію же минуту к чертовой матери!», что робкіе люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характернаго для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушія, хотя порой и наиграннаго, много мальчишеской веселости и того милаго однообразія с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному – и к Пушкину, к Толстому, – тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронскаго, о «прелестной, божественной Фру-Фру», – и еще к Киплингу. В последніе годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, – Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной

геніальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском Богатстве» и потому с радостью услышал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали, – «он верно, купается», сказали; нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. – «Куприн?» – «Да, а вы?» – Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, – в нем тогда веселости,

и добродушія было так много, что на всякій вопрос о нем, – кроме того, что касалось его семьи, его детства, – он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Кіева... Служил в полку возле австрійской границы, потом полк бросил, хотя званіе офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полесье, – никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед разсветом! Потом за гроши писал всякія гнусности для одной кіевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, – ничего не могу придумать, а положеніе ужасное – посмотри-те, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать... Слава Богу, что милые Карышевы пріютили, а то бы хоть красть...»

В это чудесное лето, в южныя теплыя звездныя ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для за-работка.

– «Да меня же никуда не примут», жалостливо скулил он в ответ. – «Но ведь вы уже печатались!» – «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». – «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей «Міра Божьяго», – ручаюсь, что там примут». – «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» – «Вы знаете, например, солдат, – напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню...» – «Но я же не знаю деревни!» – «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе...» – Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мір Божій», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесскія Новости», – сам он почему-то «ужасно боялся», – и за который мне удалось тут же схватить для него 25 рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакції с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штиблеты», потом на лихаче помчал меня в приморській ресторан

«Аркадію» угощать жареной скумбріей и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:

– Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищаго, босого!

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетій: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того отлично верхом ездешь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроеній. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-маль-

ски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому все трын трава...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и ни кем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В ту пору он особенно часто говорил, что «писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием придавался при встречах со мной смакованіем всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какія-то едкія душевныя склонности – охоту, например, к издевательству над людьми; «Взять какого-нибудь болвана, часто говорил он с упоением, взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми безстыдными похвалами, вообще всячески «раз-

вертеть» ее, – да что же может быть слаще этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил резкій перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира Божьяго», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложеніе ея дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все большій успех. В эту пору он написал свои лучшія вещи: «Конокрад», «Болото», «Трус», «Река Жизни», «Гамбринус»... Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика...

Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, – самыми близкими соседями, в одном и том же доме, – и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал нам:

«Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет пятнадцать, «молодцом во всех отношеніях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежняго Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенькій, слабенькій, что, казалось, первый, порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью; с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, – такіе крупные, дрожація каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за последніе два года я не видал его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог – не в силах был видеть его в таком состояніи...

Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из

Италіи, и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известіем:

«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР....»

Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россію, – его туда увезли, уже совсем больного, впавшаго в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другіе – Горькій, Андреев, Шаляпин – жили в непрестанном упоеніи своими славами, в непрерывном чувствованіи их не только на людях, на всяких публичных собраніях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, – сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компаніи и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибав-

ляемыми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор...» А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрею, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения. Дружит, не расстаётся только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно – уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к чорту все и вся.

– Я не честолюбив, я самолюбив, – как-то сказал я ему по какому-то поводу.

– А я? – быстро спросил он. И на минуту задумался, сощутив, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: – Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказами, – вот и вся моя писательская

исторія...

Он это часто повторял – «я стал писателем случайно». Это, конечно, не правда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда – это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился между прочим при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «разказишками». Он мне говорил, что эти «разказишки» он сбывал «за суцїе гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать – уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильней – большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:

– Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случае слова «и до сей поры» – весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле – как бы это сказать? – интеллигентности, что ли, – уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихийности», «непосредственности»

его произведений, о той «первичности переживаний, которыми они пленяют». Читаешь о нем и сейчас то же самое; «Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небрежливость, слишком большое доверие к «нутру», в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах... то, что он «не кончил консерватории», как говорили символисты о бытовиках... в своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами... Ни в нем, ни в его героях не было двойственности...» Все это требует больших оговорок. Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» – тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель? Нет, «консерваторию» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, далеко не все шло ему

на пользу тут.

Это еще мелочи, – то, что не мало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором...» Это еще полбеда, – беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста, – в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освещало вершины деревьев...»; надо писать рассказ для «Русского Богатства»? И за этим дело не постоит, – вот нем «Молох»: Заводский гудок протяжно ревел, возвещая

начало рабочего дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и низко разстился по ее поверхности...»

Разве плохо для вступленія в смысле литературности? Все честь честью – вплоть до подлаго ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше, есть все, что требуется по образцам данного времени, и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нужная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей, «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающій замуж за своего служащего, подлаго карьериста, эту «стройную, граціозную» Нину, дочь другого заводскаго служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаянія голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил те многія большія достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь»,

«Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о Балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задавало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни», предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербія» студента: «Не я один погиб от моральной заразы... Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтенія к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчанія и нищенства, это благоденственное и мирное житіе под безмолвной сенью благочестивой реакціи!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидел на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

– Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческій труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных

концов земли, чтобы, повинувся железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса... («Молох»)

– Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нея глядели, свесившись вниз, две детскія головки с выгоравшими на солнце волосами... В углу перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти, стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии...

– Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный, кусочек сахара бережливо положил обратно в коробочку...

– В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу...

– К чему эта жизнь? – говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. – Кому нуж-

но это жалкое, нечеловеческое прозябаніе? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар... («Болото»).

– Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчаніе... Он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих... («Лесная глушь»).

– Он открывал глаза и фантастическіе звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчика на дышле; и по-прежнему разстилались и налево и направо спящія белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

– Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович... («Жидовка»).

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петыя и перепетыя, обязательно «свешивающіяся с печки» детскія головки, этот вечный огрызок сахару, муху, которая

«точно повторяла докучную жалобу», чеховского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович – и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

– Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши... что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки...

– Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо – приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу, – говорил учитель фельдшеру. – Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется без-

смертным на веки вечные, я радуюсь его славе и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой – крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

В рассказе «Нарцис» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бэтси, – да, это уж неизбежно: Бэтси – и грозовой вечер, – «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», – и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли, писатели с «надвигающейся грозой»... В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в «зеленых длинных египетских глазах артистки», пеніе которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть генія!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта

начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившіеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворскій не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев и на жену смотрел, как на благопріобретенную собственность...» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и, тем самым еще более раздувает загоравшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде где их поезд оказывается рядом с другим, встречным, поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина

«вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди»...

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы: «Ночная смена», «Поход», «Дознание», «Свадьба»... Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул и по исполнению, – написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так гладко, так гладко, так умело... «У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкаго человека, согреться его теплотой... То и дело легкія тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием... Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткаго, вдумчиваго человека, – на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими, людьми...» И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело

пошло уже иначе, я все чаще стал внутренне восклицать: отлично! Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «ох, сколько тут Толстого и Чехова!» – рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, – «Конокрады», «Болото» и так далее, – я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком...

Вот еще статья о нем – строка человека, долго и близко его знавшего, известного критика Пильсакого:

– Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и безхитрость, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта... Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его восхищали времена «железных времен, орлов и великанов»...

В этом дурном роде будут еще не мало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне «первобытного, звериного», сколько любви к природе, к лошадям, собакам, котикам, птицам... В последнем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным писателем и Куприным человеком, – таким, каким его характеризуют почти все, – будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, все таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше. «Теплая доброта Куприна ко все-

му живущему» или, как говорит другой критик: «купринское благословение всему миру», это тоже было. Однако, надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.

***1938 г.***

# СЕМЕНОВЫ И БУНИНЫ

«Государство не может быть иначе, яко к пользе и славе, ежели будут такіе в нем люди, которые знают теченіе сил небесных и времени, мореплаваніе, географію всего света...» (Регламент Императорской Россійской Академіи Наук 1747 года).

К «таким» людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанскій, прославившій род Семеновых.

Я многое семейное узнал о нем от В. П. Семенова-Тянь-Шанскаго, его сына, живущаго эмигрантом в Финляндіи и порой родственно переписывающагося со мной (Семеновы родственники Буниным). От него же стало мне известно о печальной участи обширных меуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем зарубежье существующій только в одном экземпляре). В. П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал исторію второго, печатаніе котораго совпало с революціей и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатаго

листа, на чем и остановилось: большевики, захватив власть, как известно, тотчас же ввели свое собственное правописание, приказали по типографіям уничтожить все знаки, изгнанные ими из алфавита, и поэтому В. П., лично наблюдавший за печатаніем мемуаров, должен был или бросить дальнейшій набор второго тома или же кончать его по новому правописанію, то есть, выпустить в свет книгу довольно странную по внешнему виду. Стараясь избежать этой странности, В. П. нашел одну типографію, тайно не исполнившую большевицкаго заказа, преступные знаки еще не уничтожившую. Однако заведующий типографіей, боясь попасть в Чеку, соглашался допечатать книгу по старой орфографіи только при том условіи, что В. П. достанет от большевиков письменное разрешеніе на это. В. П. попытался это сделать и, конечно, получил отказ. Ему ответили: «Нет, уж извольте печатать теперь ваши мемуары по нашему правописанію: пусть всякому будет видно с двенадцатаго листа их, что как раз тут пришла наша победа. Кроме того, ведь вам теперь даже и наше разрешеніе не помогло бы:

знаки, прежняго режима во всех типографіях уничтожены. Если же, паче чаянія, вы нашли типографію, их еще сохранившую, прошу вас немедля назвать ее, чтобы мы могли упечь ее заведующего куда следует». Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней случилось, не знает, кажется, и сам В. П. (вскоре после того покинувшій Россію). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиція отца в Среднюю Азію. В нем много ценнаго научнаго матеріала, но есть страницы интересныя и для широкой публики, – например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, котораго он знал в ранней молодости, – как есть таковыя же и в третьем и, в четвертых томах, ярко рисующія настроенія разных слоев русскаго общества в конце пятидесятих годов, затем эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников...»

О Достоевском говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевскаго и о самом Петрашев-

ском. Мы собирались у Петрашевскаго регулярно, по пятницам, рассказывает П. П. Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас пріятные вечера – сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать, сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особливо библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенныя иностранныя книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденнаго агитатора. Всюду, где было можно, он проповедывал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях,

заявляя, что может преподавать целых одиннадцатъ предметов; когда же был допущен к испытанно по одному из них, начал свою пробную лекцію так: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зренія...» и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В costume своем он отличался тоже крайней оригинальностью; носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами... Один раз он пришел в Казанскій собор в женском платьѣ, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничья фізіономія и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное вниманіе соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами; «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», и так смутил квартальнаго, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

Вообще наш кружок, говорит мемуарист далее, не принимал Петрашевскаго всерьез; но вечера его все же процветали и на них появлялись все новыя и новыя лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокия цензурныя притесненія, бывали литературный чтенія, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещеніем, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкія речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевскій выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевскій читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребленія помещиков крепостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевскій вошел в славу своим романом «Бедные люди», разо-

рился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевскаго и Дурасова.

Вообще я знал его довольно долго и близко, говорит он. И вот что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевскій был очень начитанный, но не образованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его спеціальному образованію послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русскій народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем

многіе из зажиточных писателей дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, и кое в чем проявлять даже, излишнія барскія замашки. Не мало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствіем своих средств и своих желаній. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежныя требованія, которыя он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего на всего десять рублей – и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведеніи; а для Достоевскаго все это составляло несчастіе, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей...

В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, Бунинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и в частности об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина — столетие со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведения о ней можно найти еще в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы да и то потому, может быть, что портрет ее еще доньше висит в стенах Академии Наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и высыпали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч го-

ворил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами Россіи», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную брильянтами, «для ношенія в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсію, Россійская Академія Наук издала собраніе ея сочиненій. Слава ея кончилась с ея смертью и все-таки даже сам Белинскій лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.

Отец Анны Петровны был владельцем известнаго села Урусова, в Рязанской губерніи. Там и родилась она – в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ея братьям чрезвычайно хорошее по тому времени; воспитаніе. Старшій принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многіе иностранные языки, состоял в ма-сонской ложе; младшіе служили во флоте, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был опре-

делен шведским королем в упсальській университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствии большая честь – она стала членом Россійской Академіи Наук. А меж тем первоначальное ея образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда не нужной роскошью. Образованія она достигла в силу своей собственной воли и желанія, после того, как ея старшій брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературнаго и вообще просвещеннаго общества. Тут она встретила и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на ея развитіе имели большое вліяніе Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским Журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем названіе «Беседы любителей русскаго слова». Общество это организовалось б Петербурге в 1811

году. В нем было 24 действительных и 32 почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Беседы» был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ее была – «противодействие тем нововведениям, которыя вносил в русскій язык Карамзин, проведение в жизнь подражанія образцам славянскаго языка, преследованіе карамзинскаго направленія», – и весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ее членом».

Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей 600 руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее, Семенов, отправился в Петербург. А. П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был «весьма фрапирован» этим, уговаривал ее отказаться от своего намеренія – она все же от него не отказалась.

В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно. Но ее ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».

Добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вместе с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наслед-

ственный капитал. Положеніе ея становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотвореніе ея, «С приморскаго берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд новаго и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданіем, которое и вышло в свет под заглавіем «Неопытная Муза». Изданіе это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной брилліантами», а затем ежегодной пенсіей в 400 рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотвореній, «Сельскіе вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданіем, в двух томах. Это изданіе тоже имело большой успех. А двенадцатый год принес ей «высшіе лавры»: тут она выступила с

патріотическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволеніе и ряд новых милостей». Но это были: уже последнія ея радости: вскоре после того у нея открылся рак в груди, который всю остальную жизнь ея превратил в непрерывную цепь страданій и, наконец, свел ее в могилу.

Было сделано все, чтобы спасти ее или хотя бы облегчить ея участь. И Двор и общество, почитавшее ее не только за ея поэтические заслуги, но и за высокія умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участіе. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены светила медицины, лично заботился о том, чтобы леченіе ея было обставлено как можно лучше; для нея, за счет Двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались дикарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевыя издержки ея принял на себя опять сам государь, «проводил ее Петербург с большим тріумфом». Но и

Англія не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уехала. Прожила она после, того еще двенадцать лет, но почти уже не писала, – только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочиненій в трех книгах, снова награжденное от Двора, на этот раз пожизненной пенсіей в две тысячи рублей. Жила она эти последніе годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегченія от своих страданій. «Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нея позе – на коленях». Так, на коленях, и писала она:

*Любить меня иль нет, жалеть  
иль не жалеть  
Теперь, о ближніе! вы можете по  
воле...*

Последніе дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрерывным чтеніем книг священнаго писанія. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селе Денисовке, Рязанской губерніи, у своего племянника Д. М.

Бунина. Тело ея погребено в ея родном селе Урусове. На могиле ея, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете;

«Дорогому Петиньке Семенову в чаяніи его достославной возмужалости».

**1932 г.**

# ЭРТЕЛЬ

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников, — Гаршина, Успенскаго, Короленко, Чехова? А ведь в общем он был не меньше их, — за исключением, конечно, Чехова, — в некоторых отношеніях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в налитой солнцем квартире на Воздвиженке и, как всегда при встречах с ним, думал:

— Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности к мягкости, твердости и деликатности, породистаго англичанина и воронежскаго прасола! Как все мило в нем и вокруг него; и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном англійском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячіе русые усы, и голубые

меланхолическіе глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папираса, и, весь этот кабинет, сверкающій солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепийшіми, орфографическими ошибками?

В этой же самой квартире он вскоре и умер – от разрыва сердца.

Через год после того вышли в свет семь томов собранія его сочиненій (разказов, повестей и романов) и, один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловіе Толстого. К письмам – его автобіографія и статья Гершензона: «Міровозреніе Эртеля».

Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз». Он писал:

«Главное достоинство, кроме серьезнаго отношенія к делу, кроме такого знанія народнаго быта, какого я не знаю ни у одного писателя,

– неподражаемое, невстречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком...»

Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.

– Я родился, говорит он, 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской се-

мьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в Воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских именіях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившійся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, – преимущественно историческія книги, – и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философіи; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусскаго крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонскаго помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности и даже мечтательнаго романтизма...

– Выучила читать меня она, писать же я

выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у котораго отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого то бульварнаго театра в Париже, почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами... Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место – и я был обращен в «первобытное состояніе». Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомаго мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

– Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать, когда и что захочу... Когда отец взялся «пріучать меня к хозяйству», мне было 13 лет. Я в то время знал четыре правила арифметики, «Исторію Наполеона», «Кощея Безсмертнаго», «Путешествіе Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Песни Кольцова», «Сочиненія Пушкина», старинный

конській лечебник, священну історію с картинками, комедію Чадаева «Дон Педро Проко- дурнате». Затем я самоучкой выучился чи- тать по церковному и несколько раз перечи- тал «Кіевскій Патерик» и несколько книг Че- тьи Минеи... Лет шестнадцати я познакомил- ся с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочиненіями Дарвина «О происхожденіи человека» и книжками «Рус- скаго Слова», в которых я с огромным увлеченіем прочитал статьи Писарева...

– Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался запани- брата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил... Я был свой человек в застоль- ной, в конюшнях, в деревне «на улице», на по- сиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенскій народ... Отец решил, на- конец, что мои дружественныя и фамилляр- ныя отношенія с деревней положительно ме- шают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом ме- сте; и вскоре после того я занял должность

конторщика в одном соседнем имени... Железную дорогу я увидел в первый раз, когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург – двадцати трех...

Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущагося к свету, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудачком купцом, который «посреди грязи и пошлости: торговаго люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался «книжный роман», кончившийся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены имении и, крушение этой попытки, – «я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имени, оказался никуда не годным в своем маленьком», – и наконец приезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого

писателя вскоре обнаружили задатки чухотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако, типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. «Даже и в пору увлечения Засодимским, говорит Эртель, меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его — этому помогало мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованьями о его нужде, печалях, с

увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства...»

Этот то «здравый смысл» (если уж употребить столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно не похожа на таковую: после Твери Эртель только временами жывал в столицах или заграницей, – он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями в одно время даже сразу несколькими, разбро-

санными в целых девяти губерніях, то есть «целым царством», как писал он мне однажды.

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явленіем «замечательным», что міровозрѣніе его «представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей». Сила мышленія Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был, прежде всего, человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явленій и действий. И вот этим то и определялся характер его міровозрѣнія.

Все это міровозрѣніе есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует. Вопрос об изначальной силе, движущей мір, и о конечной цели этого движенія Эртель оставлял без разсмотрѣнія.

Он, однако, не был раціоналистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видима-

го есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.

Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящія исключительно от воли «Великаго Неизвестнаго, котораго мы называем Богом», то есть на такія, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящія от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.

Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществленіе ея, любил говорить: «В меру, друг, в меру!» – то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход исторіи. Безусловное пониманіе добра и зла и условное действіе в осуществленіи перваго и в борьбе с последним – вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедывал «умеренность и аккуратность»? Редко кто был менее умерен и

аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, «вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии». Он сам нередко жаловался: «Все не удастся возстановить в своей жизни равновесия... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда...» И дальнейшие (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете):

«Еще раз узнал, что могу, до самозабвения, до полнейшего упадка сил увлекаться так называемой общественной деятельностью...»

Он сурово осуждал русскую интеллигенцию и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только «нервическим раздражением» или «лирическим отношением к вещам», безсилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая ли-

бо сущность, а только форма проявлений, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующаго и затем – понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, «который костью стал в горле господ Михайловских», без чего невозможно религиозная культура личности, а второе – глубокая и серьезная культура и историческй такт. Он говорил: «Всякія «Забытыя слова» оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколенія заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религіи, к философіи, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль... Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен «дух», вера, истина. Бог... Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра... О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он

отнюдь не менее горек, если проистекает от «Феденьки», а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы «Феденьки» на месте Победоносцевых! Что до нашего отношенія к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которою вообще должны определяться отношенія между людьми, то есть закона любви, установленнаго Христом...»

«Мне думается, писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем котораго он был во многом, я думаю, что раздать именіе нищим – не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знаніе, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме именія, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать, его в землю...»

Вообще безусловное пониманіе истины и условное осуществленіе ея – один из завет-

ных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого – протiwоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему...»

Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано – всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что «смысл всех земных страданій открывается там». В отрочестве он пережил пору страстного религиознаго чувства. Затем эти чувства сменились «сомненіями, попытками утвердить, на месте все растущаго неверія, веру в добро, в революціонныя и народническія ученія, в

ученіе Толстого... Но неизменно все перемещалось в моей натуре». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. (И все таки жизнь являлась ему «все в новом и новом освященіи»). Добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народническія грезы суть грезы и больше ничего... Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам – это другое дело... Русскому народу и его интеллигенціи, прежде всяких попыток осуществленія «царства Божія», предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт... Соціализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? Там, где посадили простую, жалкую ветелку и ее выдернут просто «так себе» и где для сокращения пути на пять саженой проедут на теле-

ге по великолепной ржи, – не барской, а крестьянской, – там может быть Разовщина, Пугачевщина, все, что хочешь, но не социализм. А потом – что такое социализм? Жизнь, дру мой, нельзя ввести в оглобли! Революция? Но к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение... В каждом революционном разрушении есть грубое разрушение не материального только, а святынь жизни... Да и что такое материальное?

Истребление «Вишневых садов» озверелой толпой возмутительно, как убийство... Ведь еще Герцен сказал, что иные вещи несравненно больше жалко терять, нежели иных людей... Толстой? Но всех загнать в Фиваиду – значит оскотить и обезцветить жизнь... Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое сопротивление злу, самоотречение до уничтожения личности... Сводит всю свою жизнь до роли «самаритянской» я не хочу... Не было бы тени – не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами...» Но идут годы – и что же говорит этот народолюбец? «Нет, никогда еще я так не по-

нимал Некрасовскаго выраженія «любя ненавидеть», как теперъ, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русскаго неправдоподобно жестокаго быта... Народ русскій – глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный, грубый и, главное, лживый, лживый дикарь... Считают, что при Александре Втором всячески погублено несколько тысяч революціонеров, но ведь если бы дали волю «подлинному народу», он справился бы с этими тысячами на манер Ивана Грознаго... Безверіе? Но человек без религіи существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовест – форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе...» И вот – послѣднія признанія, не задолго до смерти:

«Страшные тайны Бога не доступны моему разсудочному пониманію...»

«Верую, что смысл жизненных страданій в смерти откроется там...»

«Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешеніе всех мучительных загадок и тайн человеческого существованія...»

**1929 г.**

# ВОЛОШИН

**М**аксимиллиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многія весьма типичный черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзіей конца прошлаго и начала нынешняго века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспеваніе самых страшных, самых зверских злодеяній русской революціи.

После его смерти появилось не мало статей о нем, но сказали они в общем мало новаго, мало дали живых черт его писательскаго и человеческого облика, некоторыя же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революціи: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущаго русскаго катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно бы-

ло в этом случае только некотораго знанія начальных учебников русской исторіи. Наиболее интересныя замечанія о нем я прочел в статье А. И. Бенуа, в «Последних Новостях»:

«Его стихи не внушали того к себе доверія, без котораго не может быть подлиннаго восторга. Я «не совсем верил» ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самыя вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхожденіям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношеніи к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукій взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его «звероподобіе», сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то «медузировал», не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самыя страшныя стихи, полныя обличеній и трагических ламентаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому,

что и там его не пожелали принять всерьез...»

Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи, – судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влеченія к словам»:

*– Мысли с рыданьями ветра сплетаются,*

*Поезд гремит, перегнать их старается,*

*Так вот в ушах и долбит и стучит это:*

*Титата, тотата, татата, титата...*

*– Из страны, где солнца свет*

*Льется с неба жгуч и ярок,*

*Я привез себе в подарок*

*Пару звонких кастаньет...*

*– Склоняясь ниц, овеян ночи синью,*

*Доверчиво ищу губами я*

*Сосцы твои, натертые полынью,  
О, мать-земля!*

Помню паши первый встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником «Весов», «Золотого Руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, не взирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторогобаранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении, с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники стихотворцы, стихи свои он читал

всегда с величайшей охотой, всюду, где угодно и в любом количестве, при малейшем желаніи окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстыя плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женскія груди, делал лицо олимпійца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающейся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику – и осторожное, но неутомимое сладострастіе аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином...

Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московскіе и петербургскіе поэты вдруг оказались страстными революціонерами, – при большом, кстати сказать, содействіи Горькаго и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время перваго большевицкаго возстанія, Горькій крепко сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не

выходя из нея ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, – приятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, еще летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархическую речи, затем Минскаго с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – и не мало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, – не то у Горькаго, не то у Скирмунта, – услышал я от него тогда тоже совсем новые для него песни:

*Народу русскому: я скорбный Ангел Миценья!  
Я в раны черныя, в распахнутую  
новь  
Кидая семена. Прошли века тер-  
пенья,  
И голос мой – набат! Хоругвь моя,*

*как кровь!*

Помню еще встречу с его матерью, – это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стриженными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первыя свиданія непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что живя у себя в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, – строки местами тоже довольно смешные:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что бы-

ло важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая. 1877 года, в день Святого Духа.

Событія жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатленіе – Таганрог и Севастополь; сознательное бытіе – окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерскія железной дороги; отрочество – леса под Звенигородом; пятнадцати лет – Коктебель в Крыму, – самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати трех – Среднеазіатская пустыня – пробужденіе самопознанія; затем Греція и все побережья и острова Средиземнаго моря – в них обретенная родина духа; последняя ступень – Париж – сознание ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет, с семи Достоевскій и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французскіе поэты и Анатолий Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Маллармэ, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан – Индія и Франція.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову...

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырех...»

В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотворение из времен французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов;

*Это гибкое, страстное тело  
Растоптала ногами толпа мне...*

Потом было слышно, что он участвует в постройке где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезду тотчас же проявил свою обычную деятельность,— выступал с чтением своих стихов в Литературно-Художественном Кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале

перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевицкой. Я даже дивился на него – так далеко шагнул он вперед и в писании стихов и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! – и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленькій ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времен? Приап? Кашалот? – Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела,

отяжелела, но движенія по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сіяет общительностью, благорасположеніем ко всему и ко всем, удовольствіем от всех и от всего – не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы от всего того огромнаго и страшнаго, что совершается в міре вообще и в темной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно – так уже истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

– Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраи-

ваю в квартире Цетлиных общежитіе поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынію!»

– Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта – сравненіе его профиля с профилем лося.

Как всегда говорит без умолку, затрагивая множества самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, котораго переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятаго круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

– Спасаем от реквизиціи особняк нашего друга, тот, в котором живем, – Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участіе. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегаєт за разрешеніем на

открытие этой Школы, в пять минут написал для нея замысловатую вывеску. Сыплет сентенціями: «В архитектуре признаю только готику и греческій стиль. Только в них нет ничего, что украшает».

– Одесскіе художники, тоже всячески стараюсь спастись, организуются в професіональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом:

«Надо возвратиться к средневековым цехам!»

– Заседание (в Художественном Кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по організації професіонального союза». Очень людно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаєт, сієєт, хочєт говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, – ея шнур прицеплен к крючку накидки, – быстро и граціозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается! дикій крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших

всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за советскую власть!» Особенно безчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними – «они нас не понимают, надо объясниться!»

– Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперед, после девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и все говорит, говорит и все на самыя высокія к трагическія темы. Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон, – да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое сообщество?

– Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того «в жизни самое главное-искусство и оно вне политики». Волошин тоже загорается рвением укра-

шать город, фантазирует, как надо это сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, разстрелы, по ночам – непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине сокрыт страждущий Серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокаленные и просветленные лики...

– Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство все времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». – «В украшении чего? Собственной виселицы?» – Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая

сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Волошин хочет писать письмо в редакцію, полное благородного негодованія...

– Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: «Не могут не напечатать, обещали, я был уже в редакції!» Но напечатали только одно: «Волошин устранен из первомайской художественной комиссії». Пришел к нам и горько жаловался:

«Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»

– Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину. «У нея реквизирировал себе помещеніе председатель. Чека Северный, Геккер познакомила меня с ней, а она – с Северным». Восхищался и им; «У Севернаго кристалльная душа, он многих спасает!» – «Приблизительно одного из ста убиваемых?» – «Все же это очень чистый человек...» И, не

удовольствовавшись этим, имел жестокую наивность рассказать мне еще то, что Северный простить себя не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко...

– Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующаго черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и тріолеты». Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссію в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного паруснаго дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, – электричества не позволяли зажигать, – угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному – матроска,

берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевицкого обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, – до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах и в добровольческих. Все же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин, почему то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше – и притом с самыми серьезными, почти зверскими лицами, – надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, непонимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпаторіи:

«Пока мы благополучно добрались до Евпаторіи и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гніющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень пріятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключенія только и начались с выездом из Одессы. Мои большевицкіе знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до «командарма», который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерійским огнем: первый десант добровольцев был произведен, в Коктебеле и делал его «Кагул», со всею командой котораго я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобожденія Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненнаго в большевизме, которому грозил разстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился таки его освобожденія. Этого мне не могут простить теперь феодосійцы, и я сейчас здесь живу с репутаціей большевика и на мои стихи смотрят как на большевицкіе.

Кстати: первое изданіе «Демонов глухонемых» распространялось в Харькове большевицким «Центрагом», а теперь ростовскій (добровольческій) «Осваг» взял у меня

несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гросману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для «Южного Слова» Два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольших статьи: «Пути России» в «Самогон крови». Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с «Аввакумом».

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если «Южное Слово» за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гросмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле «Личины», стих.: Матрос, Красногвардеец, Спекулянт и т. д.) и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нем.

Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вел себя все же очень странно.

Вот девятнадцатый год: этот год был одним из самых ужасных в смысле большевических злодеяний. Тюрмы Чека были по всей России переполнены, — хватали, кого попало,

во всех подозревая контрреволюционеров, — каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на темные улицы, стаскивали с них обувь платья, кольца, кресты, делили меж собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем... Минуту работал пулемет, потом валили, часто недобитых, в яму, кое как заваливали землей... Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

*Носят ведрами спелыя гроздья,  
Валят ягоды в глубокий ров...  
Ах, не гроздья носят, юношей го-  
нят  
К черному точилу, давят вино!*

Чего стоит одно это томное «ах!» Но он заливался еще слаще:

*Вейте, вейте, снежныя стихіи,  
Замечайте древніе гроба!*

То есть: канун вам да ладан, милые юно-

ши, гонимые «к черному точилу»! По человечеству жаль вас, конечно, но что ж поделаешь, ведь убійцы чекисты суть «снежные, древніе стихіи»:

*Верю в правоту верховных сил,  
Расковавших древнія стихіи,  
И из недр обугленной Россіи  
Говорю: «Ты прав, что так судил!»*

*Надо до алмазнаго закала  
Прокалить всю толщу бытія,  
Если ж дров в плавильне мало, -  
Господи, вот плоть моя!*

Страшней всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатаго года, когда «черное точило», – или, не столь кудряво говоря, Чека на Екатерининской площади, – весьма усердно «прокаляла толщу бытія», он часто читал мне стихи на счет то «снежной», то «обугленной» Россіи, а тотчас после того свои переводы из Анри де Ренье, потом опять пускался в оживленное антропософическое

красноречіе. И тогда я тотчас говорил ему:

– Максимилиан Александрович, оставьте все это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречіе и с каким аппетитом уписывал он, несчастный, голодный, сало, совсем забывши о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случай надобности.

**1930 г.**

## «ТРЕТИЙ ТОЛСТОЙ»

«Третий Толстой» – так не редко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождения по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексія Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых, – граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьяго Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ни чуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «советской» России, где только чекисты друг с другом советуются,

особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «советским» писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф да еще Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком то «Чрезвычайном восьмом съезде Советов»:

«Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!»

Последнія слова Молотов сказал тоже недаром: ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли русской».

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все

забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, я все знала это и все-таки все прощала ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь

«салоне», суюкал как великосветскій фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и даваясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выраженію, до безобразія, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно, – например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году, в бывшей самарской губерніи, и детство провел в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и матеріалистом...»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей самарской губерній...» Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчаніем обходится всегда граф Николай Толстой, так, точ-

но он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию. Сам он за все годы нашего с ним пріятельства к при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношенію ко мне, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графе Николай Толстом... За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине, что, до своего возвращенія в Россию, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературе и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к пріобретенію их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россию, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас же принялся не только за писаніе гнусных сценаріев, но и за сочиненія пасквилей на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшія измышленія о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русскіе «белогвардейцы».

Совершенно правильны, вероятно, сведения о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских биографий, снабженных его собственными автобиографическими показаниями, было вот что:

«В 1905 году, во время первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет...»

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революционные стихи – и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!

Однако, даже и такие биографические сведения ничто перед тем, что следует дальше:

«Первая мировая война поставила перед Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистине только в Москве можно лгать так глупо! Толстой – и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов! А тут явились еще и новые, а кроме того и «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В великую Октябрьскую революцию Толстой растерялся... Уехал в Одессу, зиму прожил там. Весною 1919 г. уехал в Париж. О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобиографии так: «Это был самый тяжелый период в моей жизни...» В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже... Его разочаровало предсмертное веселье парижских каба-

ков, кошмары белогвардейских разстрелов и расправ... Он писал на родине еще и сатирическія картины нравов капиталистической Америки, о которых геніально писал и великій советскій поэт Маяковскій...»

Где все это напечатано? И на потеху кому?

Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый Мир», где сотрудничают знатнейшіе советскіе писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичаніе белогвардейцев... Кошмары белогвардейских расправ и разстрелов...» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого разстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижскіе кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно был все-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россію, где теперь

никакіе сатрапы не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое «предсмертное» веселье во времена пребыванія в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерического разврата в весельи и роскоши: так, по крайней мере, утверждает некто Юрій Жуков, парижскій корреспондент Москвы, напечатавшій в другом московском ежемесеичнике, в журнале «Октябрь», статью под заглавіем «На Западе после войны»: этот Жуков сообщает, что по Большим парижским бульварам то и дело проходят францисканскіе монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и на помаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах». Этот Жуков и про меня зачем-то солгал: будто я «маленькій, сухонькій, со скрипучим голосом и с лицом рафинированого эстета». Когда-то в Россіи говорили: «Врет как сивый мерин». Далекія наивныя времена! Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражненія

«Советов» во лжи, даже самый жалкій советский Жуков сто очков дает вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пища свою автобіографію, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время «первой русской революціи» и первой міровой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаній, и о том, как он «растерялся» и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю явно актерским, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть ни рыдал Горькій.

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революціи») так трагически декламировал Блок: «мы, дети страшных лет Россіи, забыть не можем ничего!» – в годы между этой первой революціей и первой міровой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное Сіяніе», который затеяла некая общественная деятельни-

ца, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцію этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатанія свою рукопись под заглавіем «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, оні были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писанія Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочія его писанія. Тут то мне и открылось впервые, как разнообразны были оні, – как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революціонных стихов его я никогда не читал, ничего не слышал о них и от самага Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой

революціи», да скоро бросил – то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революція довольно скоро провалилась, хотя и успели русскіе мужички «богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместій. Что до «декадентской» его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентскаго в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда; стилизаціей всего стариннаго и сказочнаго русскаго. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянскаго быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитыя (да и не нарочитыя) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедій, приспособленных к провинціальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, всегда приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хожденія по мукам», начатый печатаньем в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратись в Россію, к большевицким требованіям, что все «былые»

герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми «красными». Известно кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуны, затем пасквильная повесть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото»... Что такое его «Сатирическія картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горькій, Маяковскій... Горькій съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусіем назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, будто бы бывшего всегда ненавистным ему, Горькому. Горькій дал такую картину этого будто бы «дьявольскаго города»;

«Это – город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными

черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его – это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пицци, живые люди; вагоны городской железной дороги – огромные черви; локомотивы – жирные утки...»

После нашего знакомства в «Северном Сіянні» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц. Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинції: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и,

не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

– Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу....

И он небрежно пробормотал в ответ;

– Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, кричал над своей шубой, признавался мне:

– Я эту наследственность за грош купил по случаю, ея мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

– Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошаго роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландскаго полотна с таким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом чернаго шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькія гаванскія сигаретки, а не пошлыя папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает, так или иначе, между прочим, и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда – один, видите ли, символист, другой – марксист, третій – футурист, четвертый – будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковскій носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин – поддевки, русскія рубахи на выпуск, сапоги с лаковыми голенищами. Блок бархат-

ную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!»

Так до самого захвата большевиками власти в октябре семнадцатаго года были мы с ним в мирных пріятельских отношеніях, но потом два раза поссорились. Жить стало уж очень трудно, начинался голод, питаться мало мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их – подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобіе коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковскій, Брюсов и прочіе) читают им свои и чужія произведенія, выбирая наиболее похабныя, произнося все

заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся и мы поругались. А затем появилось в печати произведение Блока «Двенадцать». Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революции» так:

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающем то, которое сквозило среди небесных роз...»

И еще так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией и тут даже и для Блока все-таки определились вскоре цвет и запах нового «шквала», хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркого зренья и обонянья. Тут царский период русской истории кончился (при доброй помощи солдат пегербургского гарнизона, не желавших идти на фронт), власть перешла к Временному Правительству, все царские министры были арестованы, посажены в Петропавловскую крепость, и Временное Правительство почему-то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссию» по расследованию деятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в месяц жалованья, – сумму в то время еще значительную, – стал ездить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивали. А затем произошла «Великая октябрьская революция», большевики посадили в ту же крепость уже министров Временного Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошкина) даже убили, без всяких допросов, и Блок перешел к большеви-

кам, стал личным секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Интеллигенція и Революція», стал требовать: «Слушайте, слушайте, музыку революцій!» и сочинил «Двенадцать», написав в своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку: будто он сочинял «Двенадцать» как бы в трансе, «все время слыша какіе то шумы – шумы паденія стараго міра». Московские писатели устроили собраніе для чтенія и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собраніе. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведенія, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчаніе, потом: слышались негромкія восклицанія; «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

– Господа, вы знаете, что происходят в Россіи на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, который творит русскій народ с

начала февраля прошлого года, с февральской революції, которую все еще называют совершенно безстыдно «безкровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем неповинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слез вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают все, кому не лень; солдаты, все еще бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, еще в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, все еще продолжают убійства, бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают все, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станцій, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет... Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, ошпицали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в

Орловской губернии и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилежавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал еще бешеней орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нея. А вот на днях прибежал из Симферополя всем вам известный П., – я назвал точно его фамилию, – и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колена в крови, живьем сожгли в паровозной топке какого-то старенькаго отставного военнаго. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на нас: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Интеллигенция и революция» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, ко-

гда в прошлом октябре стрелял по соборам в Кремле, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп целыя столетія водкой торговал, икая!» Что до «Двенадцати», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле до чего оно душно во всех отношеніях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить. Но вот после великаго множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных, литературно выдуманных символических, мистических стихов, он написал, наконец, нечто уже слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, плоскій трюк: он берет зимній вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днем на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым до гола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас

пьяной, буйной солдатней, но ведь в конце концов все ея деянія святы разгульным разрушеніем прежней Россіи и что впереди нея идет Сам Христос, что это Его апостолы;

*Товарищ, винтовку держи не  
трусъ!*

*Пальнем-ка пулей в Святую Русь,  
В кондовую,  
В избяную,  
В толстозадую!*

Почему Святая Русь оказалась у Блока только избяной да еще и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революціонные планы и надежды поставившіе не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетаріата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешеніем «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собраніем, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником:

*От зданія к зданію  
На канате – плакат:  
«Вся власть Учредительному Со-  
бранию!»  
А вон и долгополый -  
Что нынче невеселый,  
Товарищ, поп?  
Вон барыня в каракуле -  
Поскользнулась  
И – бац – растянулась!*

«Двенадцать» есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это прежде всего чертовски скучно безконечной болтливостью и однообразіем все одного и того же разнообразія, надоедает несметными ай, ай, эх, эх, ах, ах, ой, ой, тратата, трахтахта... Блок задумал воспроизвести народный язык, народныя чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное;

*Буржуй на перекрестке  
В воротник упрятал нос...  
Стоит буржуй, как пес голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос,*

*И старый мир, как пес безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост  
Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
Тратата!  
А Ванька с Катькой в кабаке,  
У ей керенки есть в чулке!  
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мою попробуй поцелуй!  
Катька с Ванькой занята -  
Чем, чем занята?  
Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катькою летит -  
Елекстрическій фонарик  
На оглобельках...  
Ах, ах, пади!*

Это ли не народный язык!  
«Елекстрическій»! Попробуйте-ка произнести!  
И совершенно смехотворная нежность к оглоблям, – «оглобельки», – очевидно, тоже народная.  
А дальше нечто еще более народное;

*Ах, ты Катя, моя Катя,  
Толстоморденькая!  
Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнькерем гулять ходила,*

## *С солдатъем теперь пошла?*

Исторія с этой Катькой кончается убійством ея и истерическим раскаяніем убійцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи:

*Опять навстречу несется вскачь,  
Летит, вопит, орет лихач...  
Стой, стой! Андрюха, помогай,  
Петруха, сзади забегай!  
Трахтахтахтах!  
Что, Катька, рада? – Ни гугу!  
Лежи ты, падаль, на снегу!  
Эх, эх,  
Позабавиться не грех!  
Ты лети, буржуй, воробышком,  
Выпью кровушку  
За зазнобушку,  
Чернобровушку!  
И опять идут двенадцать,  
За плечами ружьеца,  
Лишь у беднаго убійцы  
Не видать совсем лица!*

Бедный убійца, один из двенадцати Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем, и из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ре-

вет, рыдает, раскаивается, – ведь уж так всегда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

*Ох, товарищи родные,  
Эту девку я любил,  
Ночки черныя, хмельныя  
С этой девкой проводил!*

«Ты лети, буржуй, воробышком», – опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, – а дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черныя, хмельныя – от этого то заборнаго, то сусальнаго русскаго стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

*Из-за удали бедовой  
В огневых ея очах,  
Из-за родинки пунцовой  
Возле праваго плеча,  
Загубил я, безтолковый,  
Загубил я сгоряча... Ах!*

В этой архирусской трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой морды Катьки с

«бедовой удалю ее огневых очей». По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем, кстати, и «пунцовая родинка», – ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!

А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматьей, сказал я в заключение. Увлечшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пес – опять пес! – и патологическое кощунство: какой то сладкій Иисусик, пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц:

*Так идут державным шагом -  
Позади – голодный пес,  
Впереди – с кровавым флагом,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной розсыпью жемчужной,*

*В белом венчике из роз -  
Впереди – Исус Христос!*

Как ни вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, котораго Мефистофель привел в «Кухню Ведьм»:

*Кого тут ведьма за нос водит?  
Как будто хором чушь городит  
Сто сорок тысяч дураков!*

Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, – большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и т. д.

Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «Двенадцати». Сколько было противных любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографического «узорного плата до бровей»! Но вот, наконец, весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ле-

нину, объявлен азиатом «с раскосыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам. Блок говорит от имени России не менее заносчиво, чем говорил от ее имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги») и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера;

*Милльоны – вас. Нас – тьмы, и  
тьмы, и тьмы.  
Попробуйте сразиться с нами!  
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы  
С раскосыми и жадными очами!*

*Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перла,  
И вы, глумясь, считали только  
срок,  
Когда наставит пушек жерла!*

*Да, так любить, как любит наша  
кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть лю-  
бовь,  
Которая и жжет и губит!*

*Мы любим плоть – и вкус ея, и  
цвет,  
И душный, смертный плоти за-  
пах...  
Виновны ль мы, коль хрустнет  
ваш скелет  
В тяжелых, нежных наших ла-  
пах?*

*Привыкли мы, хватая под уздцы  
Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжелые крест-  
цы  
И усмирять рабынь стропти-  
вых...*

В этих комических угрозах, в этой литера-  
турщине, которой я привожу лишь часть,  
есть кое что совсем непонятное, что значит,  
например, «копя и плавя наши перла»? Все  
остальное что ни слово, то золото: тьмы  
азіатов, раскосыя и жадныя очи, вкус и смерт-  
ный запах плоти, тяжелыя, нежныя лапы,  
хрустящіе людскіе скелеты и даже ломаемые  
конскіе крестцы, хотя ломать их за игривость  
коней есть дело не только злое и глупое, но и  
совершенно невозможное физически, так что

уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» – грубая подделка под Пушкина («Клеветникам России»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время «созданія» «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существованіе России, развалилась вся русская армія, защищавшая ее от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, – «Попробуйте сразиться с нами!» – удирали с фронта во все лопатки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест Литовске знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно: за год до февральской революціи я оказал большую услугу никоему приват доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекціи, ярому социал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольныя

революціонныя брошюрки, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станціи Орша, за которой находились области оккупированныя) и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, – навсегда, как оказалось, – и какое это было все-таки ужасное путешествіе! Поезд шел с вооруженной охраной, – на случай нападенія на него последних удиравших с фронта «скифов» – по ночам проходил в темноте и весь затемненный станціи, и что только было на вокзалах этих станцій, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революціи»!

В тот год власть большевиков простиралась еще на небольшую часть Россіи, все остальное было или свободно или занято немцами, австрійцами, и с их согласія и при их поддержке управлялось самостоятельно.

В тот год уже шло великое бегство из Великороссіи людей всех чинов и званій, всякаго пола и возраста – всякій, кто мог, бежал в еще свободную и неголодающую Россію. И вот оказался через некоторое время и Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандіевская, с двумя детьми, потом появился и он сам. Тут он встретился со мной как ни в чем ни бывало и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще не знал в нем:

– Вы не поверите, – кричал он, – до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собраніи по поводу идиотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русскій народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, такія речи хороших, бородатых мужиков насчет не

только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, – вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам, – Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, – но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французскія и греческія воинскія части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцію, потом в Болгарію, в

Сербію и наконец во Францію чуть ни через год после, того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под большевиками, освобождены были Добровольцами Деникина, – его главная армія чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, – но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россіей.

Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленькій, ветхій греческій пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русскій ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет 75, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница албанец, не знавшій Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русскій моряк, заменившій его, по-

тонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом, и тут должны были идти под душ в каменный сарай – «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Безсмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской Императорской Академіи), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам:

«Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему то приказанію на громадный, грохочущій каміон и домчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемыя Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромнаго турецкаго дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта

еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещеніе уже упраздненнаго русскаго консульства, где до отъезда в Софію спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было пертерплено – не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме, рядом с тифозными и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось, пребываніем здесь (во Франціи). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознаніе, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгій Евгеньевич Львов (бывшій глава Временнаго Правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы по всей вероятности согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того к Вашим услугам журнал «Грядущая Россія» (начавшій выходить в Париже), затем одно огромное изданія, куда я приглашен редактором, кроме того изданія Ваших книг по-русски, немецки и англійски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобиліи. Если вы пріедете или известите заранее о Вашем пріезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень очень хорошо...»

В первом письме были еще такі строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, т. е. не зажиливать. В Париже Вас очень хотят перевести, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18-20. Написано – одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно, – сценарий... Франция – удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжитой дом... Большевик здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия – всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже, Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многія имена которых были известны не только всей России, но и Европе, – тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депу-

таты Государственной Думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, не взирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть ни каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников – Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей – Мережковский, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу – в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы не плохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься

нам есть где, но этого мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали 160 тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

– Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношеніях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

– В какой суматохе?

– Ну я уж не знаю, в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь – истинное мученіе для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек,

считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандіевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом:

– Я не дурак, говорил он мне, смеясь, – тотчас закупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за 18 тысяч франков свое несуществующее в России имение и, выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

– Понимаете, какая дурацкая история вышла: я все им изложил честь честью, и сколь-

ко десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодій, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я, было, заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да к счастью вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю; в каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава Богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче, буйабез от Прьюнье и такое Пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю – быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком – выпить стакан добраго вина и полюбоваться огнями этого чуднаго города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не

хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

– Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже 37 тысяч франков, – в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, – теперь бледнеют, когда я захожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, – иней опустил всю ее беличью шапочку, беличий воротник и шубки, ресницы, уголки губ, – и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

– Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в

разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россію.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о Россіи, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остаток его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть «тигельные» денежки – рай, хотя скучно. Но денег нет совсем и, если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван милый, как наши общія дела? Бог смерти не дает – надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы,

если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковыя слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующія письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, – Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россію, во всяком случае очень близко от Россіи. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при Гетмане; марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на аванюре, – революція была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают как никто.. Большевиизма здесь не будет, это уже ясно. На

улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, – все черное. Живем мы в пансіоне, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение а от здешняго пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем – Наташа с детьми в Фрейбург, я – в Мюнхен... Здесь всю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германіи, зарабатывать можно не плохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россіей. Вопрос со старым правописанием очевидно будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывая ответы на письма. Я удивляюсь – почему ты так упорно не хочешь ехать в Германію, на те, например, деньги, который ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансіоне, в лучшей части города 9 месяцев, жил бы барином, ни о

чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем 13-14 тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, т. е. на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Зарботки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, – меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию; часть книг уже проникает туда, – не говоря уже о книгах с социальным оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около 30 издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Очень значительна в этом письме строка;  
«Если я получу что-нибудь со спектакля  
моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...»

Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако, это письмо было уже последним его письмом ко мне.

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 г., в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кофе, он тоже оказался в нем, – зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, – издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой». Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормотал: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» – спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

– Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты предста-

вить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

– Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе, на сто лет хватит твоей нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, – меня ждали те, с кем я пришел в кафе, – он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, – «в суматохе!» – и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большія роговыя очки заме-

нили пенснэ, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

*1949 г.*

# МАЯКОВСКИЙ

Кончая свои писательскія воспоминанія, думаю, что Маяковский останется в исторіи литературы большевицких лет как самый низкій, самый циничный и вредный слуга советскаго людоедства по части литературнаго восхваленія его и тем самым воздействія на советскую чернь, — тут не в счет, конечно, только один Горькій, пропаганда котораго с его міровой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и безпримерной неутомимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идіотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваленія ея, за всяческую помощь ей в деле развращенія советских людей, в сниженіи их нравов и вкусов. Маяковский превознесен в Москве не только как великій поэт. В связи с недавней двадца-

тилетней годовщиной его самоубійства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского воплотилось в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другія долгія дела. Десять пароходов «Владимір Маяковскій» плавают по морям и рекам. «Владимір Маяковскій» было начерчено на броне трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимір Маяковскій» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимір Маяковскій» топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станція метро, переулок, библіотека, музей, район в Грузіи, село в Арменіи, поселок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской Россіи есть всего на всего единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта»). Маяковскому пошло на пользу даже его самоубійство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намеком на что-

то даже очень возвышенное:

*Твой выстрел был подобен Этне  
В предгорье трусов, и трусих!*

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь ея действию, – обвалу, изверженію... Но поелику Пастернак считается в советской Россіи да многими и в эмиграции тоже геніальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним геніальным поэтам, и вот еще один пример тому из его стихов:

Поэзія, я буду клясться тобой и кончу, прохрипел: ты не осанка сладкогласца, ты лето с местом в третьем классе, ты пригород, а не припев.

Маяковскій прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальныя выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевы, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и дерзости. (Вот его знаменитая желтая кофта и дикарски раскрашенная, морда, но

сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаніям одного из его тогдашних пріятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешаться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папирсой, зажатой в углу презрительно искривленнаго рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

– Желаящіе получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, – он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушел в баню»...

Если бы подобная, картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке, любой прохожій мещанин, взглянув на нее, только

покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получить по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до безчувствія. Ну, а русская столичная интеллигенція все-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходы называются футуризмом.

В день объявленія первой русской войны с немцами Маяковскій влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревет над толпой патриотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нем цилиндр, черное пальто, черныя перчатки, в руках трость черного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горькій незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране,

освященной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!» Восцарившись, Ленин, «величайший гений всех времен и народов,» как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде «дополнения» к «святому искусству» вашему?»

«Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения...» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

«Так называемая «свобода творчества» есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации».

И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП (Российской Коммунистической Партии), начинает буянить в том же ро-

де, как буюнил, будучи футуристом: орать, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем – меня: твердо сказал на каком-то публичном собрании (по свидетельству Е. Д. Кусковой в ее статьях «До и после», напечатанных в прошлом году в «Новом Русском Слове» по поводу моих «Автобиографических заметок»):

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!»

Что именно требовалось, как «оружие», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партией, которой он заменил все прочия «партийныя организации»? Требовалась «фабрикация людей с материалистическим мышлением, материалистическими чувствами», а для этой фабрикации требовалось все наиболее заветное ему, Ленину, и всем его соратникам и наследникам: стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, – ненависть к религии была у Ле-

нина совершенно паталогическая, – и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы в безпримерно похабном самохвальстве, и прославлении РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников, – словом как раз все то, для чего трудно было найти более подходящаго певца, «поэта», чем Маяковский о его злобной, безстыдной, каторжно-безсердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ея главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он называл звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествіи по Кавказу, сообщил, что сперва поплевал в Терек, потом поплевал в

Арагву; он любил слова еще более гадкія, чем плевочки, – писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя «публикой осоплено», над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издавался в том же роде:

Мамаша грудь ребенку дала.

Ребенок, с каплями на носу, сосет как будто не грудь, а доллар – занят серьезным бизнесом.

Он любил слово «блевотина», – писал (похоже, что о самом себе):

Бумаги гладь облевывает пером, концом губы поэт, как блядь рублевая.

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, – Горькій уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Желтаго Дьявола», то есть золота, – он, Маяковскій, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

Пока доллар всех поэм родовей, лапя, ха-

пая, выступает, порфиру надев, Бродвей: капитал – его препохабіе!

Горькій посетил Америку в 1906 году, Маяковскій через двадцать лет после него – и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочел об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга» прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта «плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великій поэт революцій!»

С такой же силой, с какой он устранил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

Мы не с мордой, опущенной вниз, мы – в новом, грядущем быту, помноженном на электричество и коммунизм...

Поэтом не быть мне бы, если б не это пел:

В звездах пятиконечных небо безмернаго сво-  
да РКП.

Что совершалось под этим небом в пору  
писаній этих виршей? Об этом можно было  
прочсть даже и в советских газетах:

«3г-о іюня на улицах Одессы подобрано 142  
трупа умерших от голода, 5-го іюня – 187.  
Граждане! Записывайтесь в трудовыя артели  
по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства  
бившій член Государственной Думы Крылов,  
врач по профессіи: он был, вызван в деревню  
к больному, но по дороге убит и съеден».

В ту же пору так называемый  
«(Всероссійскій Староста» Калинин: посетил  
юг Россіи и тоже вполне откровенно засвиде-  
тельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другіе хоро-  
нят, стремясь использовать в пищу мягкія ча-  
сти умерших».

Но что до того было Маяковским, Демья-  
нам и многим, многим прочим из их числа,  
жравшим «на полный рот», носившим шел-  
ковое белье, жившим в самых знаменитых

«Подмосковных», в московских особняках прежних московских миллионеров! Какое дело было Владимиру Маяковскому до всего того, что вообще совершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба во веки не видать»? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови «революционный народ», затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его сподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошел в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

Юноше, обдумывающему житье, решающему – сделать бы жизнь с кого, скажу, не задумываясь: делай ее с товарища Дзержинского!

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский славословить и самих творцов РКП, – лично их:

Партия и Ленин кто более матери истории ценен?

Я хочу, что б к штыку приравняли перо.

С чугуном чтоб и с выделкой стали о рабств стихов от Политбюро чтобы делал доклады Сталин.

И вот слава его, как великаго поэта, все растет и растет, поэтическія творенія его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокіе, он то и дело во-вояжирует в «гнусныя» капиталистическія страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нем довольно долгое пребываніе, заказывал белье и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистическіе, но «поплевал» и в Париже, – заявил с томной брезгливостью пресыщеннаго пшюта:

Я не люблю парижскую любовь – любую

самочку шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю, сказав «тубо» собакам озверевшей страсти.

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горькій: пригласил его к себе на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-Позвоночник», и когда Маяковскій кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

– Здорово, сильно... Большой поэт!

А всево несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемірной литературы отброшены последними годами в далекое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новосельи» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изученію «Слова о Полку Игореве», – он, русскій по происхожденію, когда-то учившійся в одной гимназіи с Маяков-

ским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и наконец получил кафедру в Харвардском университете, лучшим в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, – кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарепортовался, рядом со «Словом о Полку Игореве» творения Маяковского навряд будут в ней, но в будущей, свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.

# ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ

Революційні времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, – плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае – пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата ея большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русскій «революційный народ» уже весной 1917 года и особенно в уездных городах и в деревнях, – я в ту пору приехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии, – рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом мужики, грабившіе это имение, оципали до гола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот рассказ жестокой нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее Слово», Павла Юшкевича, напечатавшаго в ней в назидание мне такіа строки:

«К революціи, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мериллом и пониманием уголовного хроникера, оплаки-

вать ваших павлинов – мещанство, обывательщина, Гегель не даром учил о разумности всего действительнаго!»

Я ответил ему в одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, в что мне все-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться...

Все это я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали наконец (в начале февраля 1920 года) эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма оципанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние, мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, все было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, приветливым; те-

перь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкій ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупаціей союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, еще более безправными, чем они, а несчастными уже до последняго предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольскіе дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитаго в Россіи за три последних года. Но матеріальное положеніе наше не внушало радости: и мне и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочнаго прибежища и средств к существованію в какой-нибудь славянской стране, — в Софіи, в Белграде, в Праге, — где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и перваго поезда, — они были тогда еще очень редки после всех тех разрушеній, что произвела четырехлет-

няя война и в Европе, и на Балканах, – мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положеній наших дел и на фронте и в тылу одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, – это давало мне к тому же надежду как нибудь устроиться там, – но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном море, было тоже чудом.

Болгарія была оккупирована тогда французами и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселил там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных; заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось – для меня – вот чем. За несколько дней до нашего отъезда, из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и, там просидел почти до разсвета, – ни хозяин,

ни военный болгарскій министр, бывшій в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

– Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой, – только на разсвете и не совсем трезвый, – а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцію Рысса, человека очень обидчиваго, и что лекція эта должна была начаться в девять утра, – в Софіи публичныя лекціи, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ея, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой – и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояніе, был раскрыт и ограблен до тла, – на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, – так что мы оказались уже вполне нищими, в положеніи совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкіе, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам от-

пер чемодан, чтобы взять из него золотой Хронометр, посмотреть, который час, – я благодарно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софии, – и, посмотрев, бросил чемодан не запертым, а, хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он, однако, судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, – почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, кто-то, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше, чем за минуту перед его появлением на эстраде, под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, – в котором, вероятно, сидел бы и я, – было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичек», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке

и поганом сюртучишке, горничной – его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как назвал ее болгарский сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля; занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьяго класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, – так был переполнен в ту пору Белград, – я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербь помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какія еще были; у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя однако только один «колокольчик. Делом этим ве-

дал князь Григорій Трубецкой, засідавшій в нашем посольстве. И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключеніе, разменять не один «колокольчик», а два или три, – сославшись на то, что был обокраден в Софіи. Он посмотрел на меня и сказал:

– Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

– Так точно, – ответил я.

– А из какой именно вы академіи?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог:

– Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слышали обо мне.

Он покраснел и резко «отчеканил»:

– Все же никакого исключенія я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волненія, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел из посольства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софію, в этот мерзкій и страшный отель? Я тупо постоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг от-

крылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

– Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной, касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той твоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал; и в имени которой, в селе Васильевском, я по долгу живал многие годы – вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на развете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника.. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки, из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

– Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

– Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

– Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

– Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь; вхожу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.

– На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, – тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?» Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять – опять молчит. Хлопнул дверь и ушел. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул би-

чевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствію Ленина не будет конца».

– Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала Машка,

– помнишь девку из двора Федьки Рыжаго? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь Васильевского кузнеца ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр – смотреть «Синюю птицу»...

– Один наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

– Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! – сказал он. – Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не будет!»

– Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садов-

ник: приехал, говорит, «повидаться (с своим баринном», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлаго старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему (по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощанье поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

– Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, о писателях эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»

– Писатель Малашкин, шестипалый, мещан-

нин из ефремовскаго уезда. Говорит: «Я новый роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихійно, темпераментно!»

– Писатель Романов – мещанин из Белевскаго уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», черныя лайковыя перчатки, застегнутыя на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандіозные: Пишу трилогію «Русь», листов сто будет!» К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там...» Писатель Леонов, гостившій у Горькаго за границей, тоже сучал, все говорил: «Гармонь бы мне...»

– Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, «квартирует» в избе Красовых, метет и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто же ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовым Тульской губерніи, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последніе дни мой

старшій брат Евгеній Алексеевич Бунин. Когда-то у него было небольшое именіе, которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведенія и о нем:

– Ты, вероятно, не знаешь, что Евгенія Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живет в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет в метель снегом... Живет тем что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке, – фрак и цилиндр достались ему при грабеже именія ваших родственников Трухачевских, – и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтическія строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как

лиловые мiры первой революцiи захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевшiй гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевшiй шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцiей и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

*Древнiй образ в черной раке,  
Перед ней подлец во фраке,  
В лентах, в звездах, в орденах...*

Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и

аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты Васек Жоховых Евгений Алексеевич заплатил жизнью: пошел однажды зачем-то, – верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, – в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещен был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилегал однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Марья Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чехотки в Ростове, на Дону...

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

– Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь, не хуже чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая со-

лома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох... А затем пришло уже такое сообщение:

– Васильевское и все соседнія усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимаго стараго клена...

«Вронскій действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, – как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронскаго, как нагло и мило обманывает мужа. – Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны – и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом... Граф Толстой оболстительно рисует пошловатый мир Вронскаго и Анны... А ведь, граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это пример того, до чего

договариваются некоторые в  
предреволюционные и революционные време-  
на. В шестидесятых годах да и в семидесятых  
не один болван, ненавидевший «фрак», тоже  
договаривался до чудовищных нелепостей.  
Но был ли болваном тот, чьи строки я только  
что привел? Строки, которые мог написать  
лишь самый отчаянный болван, негодяй и  
лжец, котораго мало было повесить на пер-  
вой осине даже за одне только каверзные ка-  
вычки в этих строках?

Это писал совсем не болван, это писал  
Алексей Сергеевич Суворин, ставший  
впоследствии столь известным, писал в семи-  
десятых годах. Ведь даже злейшие враги счи-  
тали его впоследствии большим умом, боль-  
шим талантом. А Чехов писал ему о его лите-  
ратурном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный – превосходный,  
я верю ему как тому, что в небесах есть солн-  
це».

# НОБЕЛЕВСКИЕ ДНИ

9 ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени...

Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление – пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекия Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

– Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба...

В синема я однако опять забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: иг-

рает хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика и кто-то трогает меня за плечо и торжественно взволнованно говорит вполголоса:

– Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какой-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни...

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками

почтальонов, приносящих все новыя и новыя приветственныя телеграммы чуть не из всех стран міра, – отовсюду, кроме Россіи! – и выдерживает первые натиски посетителей всякаго рода, фотографов и журналистов... Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магніем, чтобы потом разнести по всему свету изображеніе какого-то бледнаго безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами...

– Как давно вы из Россіи?

– Эмигрант с начала двадцатаго года.

– Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

– Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

– Правда ли, что вы первый русскій писатель, которому присуждена Нобелевская премія за все время ея существованія?

– Правда.

– Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нея отказался?

– Неправда. Премія никогда никому не

предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

– Имели ли вы связи и знакомства в Шведской Академии?

– Никогда и никаких.

– За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

– Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

– Вы ожидали, что вам ее присудят?

– Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Вк, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской Академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

– Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

– Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

– Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

– Даже может быть, раньше: хочется поско-

рее испытать удовольствіе дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской безправности, по той трудности, с которой нам эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившаго когда-то по всему міру, было одно из самых больших лишеній.

– Вы уже бывали в скандинавских странах?

– Нет, никогда. Совершал, повторяю, многія и далекія путешествія, но все к востоку и к югу, север же все оставлял на будущее время...

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобіе сумасшедшаго существованія: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждаго Нобелевскаго лауреата, со мной, в силу необычности моего положенія, то есть, моей принадлежности к той странной Россіи, которая сейчас разсеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего нико-

гда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным...

В ночь с третьего на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса – сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! Далеко за полночь, мы уже в Германии. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним И, вырываясь из под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоския равнины, траурно-пестрые от снега, какія-то оснеженные деревья...

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору – окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховыя шапки, шубы – как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!

Вечером наш поезд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам

Швеції. Снова интервью, снова вспышки магния... В Швеції мой вагон буквально осаждается толпой фотографов и журналистов... И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и белизна – сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге...

Раздача премій лауреатам ежегодно происходит всегда десятого декабря и начинается ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается рано, с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего восемь, северное утро едва, брезжит, еще горят фонари на набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквями и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать

день нынче рано: десятое декабря – дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу и на могилу недавно умершаго племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии, которая ждет меня нынче вечером, возбуждает...

Официальное приглашение на торжество разсылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено (на французском языке) в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы;

– Гг. лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 г., не позднее 4 ч. 50 м дня. Его Величество, в сопровождении Королевского Дома и всего Двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество.

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня – из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фрачной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире?

В половине пятого мы едем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями, – и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового Года. К громадному «Музыкальному Дому», где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шоффер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда идут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили.

Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпой, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то

по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская Академия, члены Нобелевского Комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами появление Монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющемся откуда-то сверху, и Монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду.

Но вот и наш выход. С эстрады снова разда-

ются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премій первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводит Пер Гальстром, непрременный секретарь Академій. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала и тем, что при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам Монарх со всем своим Двором и Домом.

Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми, живыми цветами. Правую сторону ея занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно-неподвижно свисают со стен полотнища шведскаго національнаго флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советскій заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним, – шведским.

Благородная мысль!

Открывает торжество председатель Нобелевского Фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, – в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.

Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услышал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема.

Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но истинно сердечна. Кончив, он с малой церемонностью обратился ко мне по французски:

– Иван Алексеевич Бунин, благоволите

сойти в зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской Академіей.

В наступившем вслед за тем глубоком молчаніи я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ея ступеням к Королю, вставшему мне на встречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыханіе, чтобы слышать, что Он мне скажет и что я Ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатіем. Низко склоняясь перед Ним, я ответил по французски:

— Государь, я прошу Ваше Величество со-благоволить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности.

Слова мои потонули в рукоплесканіях. Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздача премій. Вечером же десятаго декабря, почтя тотчас по окончаніи этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевскій Комитет.

На банкете председательствует кронпринц. Когда мы приезжаем, там уже опять в

сборе все члены Академіи, весь Королевскій Дом и двор, дипломатическій корпус, художественный мір Стокгольма и прочіе приглашенные.

К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.

Мое место рядом с принцессой Ингрид, – ныне она датская королева, – напротив брата короля, принца Евгенія (кстати сказать, известного шведскаго художника).

Кронпринц открывает застольныя речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затем наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.

Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе..

Вот точный текст той речи, которую произнес я по французски:

– Ваше Высочество, Милостивыя Государыни, Милостивые Государи.

9 ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской Академіи. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатленіе во всей моей жизни. Справедливо сказал великій философ, что чувства радости, даже самыя резкія, почти ничего не значат по сравненію с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминаніе, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанныя мною за последніе пятнадцать лет далеко превышали моя радости. И не личными были эти скорби, – совсем нет! Однако, твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетвореніе. Литературная премія, учрежденная вашим великим соотечествен-

ником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и безпристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франціи, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыб-

лемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизаціей. Для писателя эта свобода необходима особенно, – она для него догмат, аксіома. Ваш же жест, господа члены Академіи, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящій національный культ Швеціи.

– И еще несколько слов – для окончанія этой небольшой речи. Я не с нынешняго дня высоко ценю ваш Королевскій Дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традиціей для шведскаго Королевскаго Дома, равно как и для всей благородной націи вашей. Основанная славным воином, шведская династія есть одна из самых славных в міре. Его Величество Король, Король-Рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманіем Шведской Академіи, выразить Ему свои почтительнейшія и сердечнейшія чувства.

